

КОСТА ХЕТАГУРОВ





КОСТА ХЕТАГУРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Издание осуществляется совместно
с Северо-Осетинским научно-исследовательским
институтом истории, экономики, языка и литературы

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

КОСТА ХЕТАГУРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ПОЭМЫ
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРОЗА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

С(Осет)1

Х 41

Редакционная коллегия:

**Н. С. АТАРОВ, К. Ц. ГУТИЕВ, С. Т. МАРЗОЕВ,
Л. А. ОЗЕРОВ, А. А. ХАДАРЦЕВА**

Составление и комментарии

К. Ц. ГУТИЕВА

Оформление

Г. ФИШЕРА

Х $\frac{70403-027}{028(01)-74}$ Подп. изд.



ПОЭМЫ



ФАТИМА

Кавказская повесть

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ах, с каким безграничным восторгом, дитя,
На руках из мишурного света
Я унес бы далеко, далеко тебя
И любил бы любовью поэта...

Детский слух услаждал бы я лирой своей,
И под звуки ее безмятежно
Засыпала б ты сладко на груди моей,
А я пел бы, баюкал бы нежно...

Много, много сложил бы я песен тогда
На чарующем лоне природы
О восторгах любви, наслажденьях труда
И о светлом блаженстве свободы...

I

Полна кунацкая Наиба
Привета ласковых затей,
Немало из Чечни, Гуниба
И славной Кабарды гостей,

Встречая здесь прием радушный,
Досуг тревоги боевой
Беседе отдает живой.
Адату родины послушны,
Храня обычай старины,
Кавказа верные сыны, —
Будь кровники — без злобы тайной,
При встрече званой иль случайной,
По возрасту, по праву лет,
Здесь делят ужин и обед,
И, как друзья, полны одною
Лишь мыслью о приволье гор,
Ведут за чашей круговую
Согласный, долгий разговор...
Здесь кунаки равны, как братья;
Их жизнь священна, как Коран;
За их обиду мусульман
Клеймит народное проклятье.
Беглец, измученный дорогой,
Подчас беспомощный абрек,
Больной, слепой, старик убогий —
Привет им, отдых и ночлег.
Сюда на праздник годовой
Идут красавицы аула
И водят танец круговой.
Здесь много юношей взгрустнуло,
Читая строгий приговор
Во взглядах девы... Здесь немало
Горянок шепоту внимало,
Стыдливо потупляя взор...
Наиб уж стар. Наиб уж сед...
Не годы, не боязнь могилы
Сломали мужество и силы
Питомца доблестных побед.

Давно ль, как юноша беспечный,
Он, ветер рассекая встречный,
Отважно на коне скакал!
Давно ль в морщинах диких скал,
Добычу смело нагоняя,
С винтовкой за плечом весь день
Бродил он, устали не зная...
Давно ль за кровником, как тень,
Гоняясь в темноте ночной,
Он к утру приносил домой
Его ружье, кинжал, папаху...
Хвала всесильному аллаху!
Не будем воспевать любовь,
Не станем говорить о чести
Там, где еще законы мести
Сулят охотно кровь за кровь...
Но горе старому джигиту,
Когда он на закате дней
Отпустит выместить обиду
Последнего из сыновей, —
Разбита вся его опора,
Погибли радость и покой!..
Под песнь унылую укора,
Впотьмах, неведомой тропой,
Как вор, бредет он торопливо
Тогда к могиле... Как пугливо
Глядит он на своих друзей,
Как ненавидит он людей!..
Наиб... Горька его утрата,
Печаль безмерна, — видит бог, —
Любил он сына, Джамбулата,
Но... горе пересилил долг, —
Наиб обязан для него
Предать минувшее забвенью, —

Судьба вручила попеченью
Печальной старости его
Красавицу — приемыш-дочь...
Его утеха вся — Фатима;
Он занят ею день и ночь,
И им, как клад, она хранима.
— Дитя, ты видишь, сединою
Сребрится голова моя, —
Быть может, скоро надо мною
Холмом насыплется земля...
В тот день, как мать твоя скончалась
И бесприютной сиротой
В ауле нашем ты осталась,
Я взял тебя... Обет святой
Тогда я дал пред стариками
Беречь тебя, как дочь свою,
И с лучшим князем между нами
Скрепить законом жизнь твою.
Как роза южная весною
Цветет украдкою в горах
И украшает их собою,
Так точно на моих руках
И ты росла и расцветала...
Молва о прелести твоей
Не раз ко мне уже сзывала
Лихих князей и узденей...
Ужель из них твое вниманье
Ничей не подкупает взгляд?
Они руки твоей хотят
И ждут меня... Я жду признанья...
Фатима, быстротечны лета, —
Тебе быть матерью пора...
Законы святы Магомета, —
Их неминуема кара...

Попрать адаты и преданья
Отцов — преступно... Дочь, поверь,
Ни в ком не встретим состраданья,
Не дав ответа и теперь...
Фатима, не терзай так больно
И так истерзанную грудь!
Она измучилась довольно
За Джамбулата.. Не забудь, —
Вы только были мне отрадой
По смерти матери его...
Я вас растил... И вот награда:
Пять лет, как вести от него
Я не имею, а в тебе —
Ни капли жалости ко мне!..
Фатима... Как?.. Ужели слезы?..
Ты плачешь? Дочь моя, о чем?
Мои слова — не брань угрозы,
А скорбь о возрасте твоём...
— Отец, зачем терять напрасно
Слова и время? Знаю я,
Бороться нам не безопасно...
Что делать!.. Видишь — я твоя...
Отдай меня, кому желаешь, —
Тебе простит и бог и свет, —
Мне все равно... Здесь речи нет
О счастье...

— Дочь, ты убиваешь
Бедой согбенного отца!
Клянусь вот этой сединою,
Клянусь величием творца,
Что я живу теперь одною
Мечтой о счастье твоём...
Права отцов, адатов силу
И мысль о выборе моем

Я унесу с собой в могилу,
Едва сердечное признание,
В награду за мои страдания,
За все насмешки надо мной
Судьбы злорадной, я услышу
Из уст Фатимы дорогой...
Дитя, открой страдальцу душу,
Молю тебя...

— Изволь, отец.

Когда измученный гонец
С Чечни к нам в полночь прискакал
И пред старшинами аула
Здесь со слезами рассказал
О притеснениях гяура...
Когда вы все — и стар и млад —
С оружием за Сулак спешили,
Ты помнишь, как тебя просили
И я, и сын твой Джамбулат
Пустить его... Ты не забыл
Его проклятья и молитвы...
Твой сын, я знаю, молод был
Для ужасов кровавой битвы,
Но он исторг твое согласие...
Безумная! Как заодно
С ним детской мыслью увлеклась я!..
Но так нам, видно, суждено!..
Ты помнишь, — ни один в походе
Не красовался на коне,
Как он... Отец, то не войне
Служить хотел он — нет! — свободе...
Свободе!.. Он любил тогда...
Прости, отец, мое признание!..
Пять лет в бесплодном ожиданье
Прошли, промчались без следа,

Как ряд ночей, без сновиденья,
Без искры света... Но, поверь,
Порой надежда и теперь
Сменяет горькое сомненье, —
Я жду его... Но что мечты
И клятвы девушки презренной! —
Они не стоят, чтобы ты
Закон отцов поправ священней...
Должно быть, так угодно року,
Что друг для друга мы равно
Погибли с ним давно, давно...
Табу¹ великому пророку!..
Изволь, отец, я покоряюсь
Своей нерадостной судьбе, —
Преступным бременем тебе
Я оставаться не решаюсь, —
Сдаюсь пред силою адата...
Нарушу юности обет...
Забуду имя Джамбулата...
И выхожу, — позволишь, нет, —
За Ибрагима...

— Дочь?!

— Сам бог

Его в удел мне посылает...

— Но он ничтожен, он убог, —
Опомнись, дочь!..

— Отец, пылает

Любовью сердце в нем давно...

— Но он не князь...

— Мне все равно...

Там, где нашла в себе я силу
Зарыть мечты мои в могилу,

¹ Слава, хвала. (Прим. авт.)

Поверь, отец мой дорогой, —
В труде, облитом потом, кровью,
Согретом правдой и любовью,
Найду отраду и покой...
Отец, ты выслушал признание
Безумной дочери твоей, —
Суди ж ее без сострадания,
По слову совести своей,
Суди преступницу скорей!.. —
Старик прикрыл глаза рукою...
Он только мог ответить ей
Упавшей на ковер слезою...

II

Свежо... Полночную прохладой
Повеял ветерок из гор...
Стоят возы живой оградой...
Пылает небольшой костер...
Быки пасутся над рекою...
Вот кто-то песню затянул, —
Звучат болезненной тоскою
В ущельях песни... Вот зевнул
Какой-то дремлющий... Привольно
На мягкой зелени лежать
В такую ночь, — начнешь невольно
Бессвязно, без конца считать
В пространстве тлеющие очи;
Меж тем блуждают без конца,
Дивясь премудрости творца,
И думы в полумраке ночи...
Как сладко за свою свободу,
Как мысль беспомощную жаль!

Обнять весь мир, постичь природу,
В надзвездную проникнуть даль —
Увы, ей не дано судьбою!..
Мелькают тени за арбою...
Один хлопочет у костра, —
Готовит ужин... Но пора!
Черкесы чинно у огня
Садятся стройным полукругом...
Обычай родины храня,
Два отрока, подобно слугам,
По старшинству всех наделяя,
Обносят чашами их ряд...
Картину ярко озаряя,
Дрова, как факелы, горят...
Похлебка и чурек ячменный!..
Кому их труд тяжелый мил,
Как ласки дружбы неизменной,
Тот ужин их бы полюбил...
А мы, читатель мой бесценный,
Мы любим негу и покой,
И в нашей праздности вседневной
Нам нужен ужин не такой!
Но тише! Юному черкесу
Вблизи слышались шаги...
— Благослови, аллах, трапезу,
Пророк вам всюду помощи! —
С приветом путник неизвестный
Явился к ним из-за арбы.
Все приподнялись...

— Будь небесным

Послом и гостем, коль рабы
Твои достойны этой чести...
За скромный ужин не брани...
Поведай радостные вести, —

Откуда, для кого они?
— Не мне, несчастному лезгину,
Быть светлым вестником небес;
Рукой бессильной я не сдвину
Загробной вечности завес...
Оставшись круглым сиротою,
Я вырос на чужих руках,
Считая матерью родною
Старуху о пяти зубах.
Она и ветхая лачуга,
Чурек на ужин и в обед,
Солома, сказки в час досуга —
Вот все, — и детства нет как нет!..
Я подрастал... Старуха знала,
Чему питомца научить, —
Она меня безбожно гнала
Князей за пиршеством смешить...
Я пел, плясал без утомленья
И мог остатками стола
Кормить старуху... Как мгновенье,
И юность светлая прошла...
Давно, давно тот возраст минул,
Давно старухи этой нет;
С тех пор, как я аул покинул,
Промчалось много, много лет...
С тех пор я странствую немало
С сумой и посохом своим, —
Пою для всех и — где попало...
Везде привет, везде любим...
Когда-то жизнь во мне кипела,
Вперед без страха я глядел, —
Искал борьбы, искал я дела...
Был близок к ним... но заболел...

Очнулся я в стране далекой,
Среди певедомых степей,
Без сил к борьбе с судьбой жестокой,
С насмешкой чуждых мне людей...
Жизнь стала для меня укором,
А жить хотелось, видит бог!..
Меж тем моим усталым взорам
Повсюду чудился острог...
Как я хотел предать забвенью
Порывы мысли роковой!..
Как челн над темной глубиной,
Я был покорен дуновенью
Едва приметного зефира...
Без сожаленья, без кумира,
Без слез, без ласки и привета,
Без искры радости и света,
Мелькали смутной чередой
За днями дни... Обрыв крутой
Меня заставил оглянуться...
Вперед... туда?.. Назад... вернуться?..
Нет, лучше где-нибудь в сугробе
Сном непробудным почивать,
Чем в смрадном ледящем гробе
Оков бряцанию внимать...
Назад, назад!.. Когда б вы знали,
Мои случайные друзья,
Как взоры дня меня пугали,
Как солнца сторонился я!
Где беспредельна степь, как море,
Где чуть колышется река,
Там безграничны скорбь и горе,
Часы ленивы, как века...
Беспомощно слабеют ноги,
Бессильно замирает грудь...

Взглянешь назад — нет полдороги,
Вперед — как вечность, долог путь!..
И вот с мучительной тоскою
Из груди рвется тихий стон
С невыразимою мольбою
О смерти... Но все тот же сон:
Я вижу снежные вершины,
Ущелья, пышные долины
Далекой родины моей..
Я слышу песнь моих друзей..
Как барс, ужаленный стрелою,
Очнусь... бросаюсь вновь вперед..
Лечу неведомой тропою,
Пока вновь сердце не замрет..
Друзья, простите тягость речи
Скитальцу бедному, — порой
Избыток чувств и сладость встречи
Жемчужной искрятся слезой..
Простите, что родное блюдо
Слезами подслащаю я..
Клянусь вам, велико то чудо,
Что с вами греюсь у огня... —
Все молча страннику внимали, —
Мальчишка не доел чурек, —
Но, слушая, не понимали,
Откуда, что за человек?..
— Я вижу, — начал он с улыбкой, —
Вас удивляет мой убор..
Что делать? Он невольной шуткой
Смешит суровость наших гор;
Я не ропщу, — ведь перед вами
Певец-скиталец и пастух, —
Убог умом, богат словами,
Кумир красавиц, враг старух...

Теперь иду, — здесь недалеко
Примолк над бурною рекой
Аул... На праздниках пророка
Хочу забавить там игрой
Найба... Чай, давно пеняет
Старик... Не так ли?.. —

Все молчат.

Кого в Найбе он теряет?
О чем те струны прозвучат,
Которые так запоздали
Узнать о смерти старика?
Зачем же слезы засверкали
В очах скитальца-кунака?
— Ужели, — гость спросил тревожно, —
Вопрос невинный вас смутил?
Зачем молчите? Все возможно, —
Наиб был стар... и слаб, и хил...
Быть может, он...

— Мой друг случайный, —

Заговорил черкес седой, —
Ты облечен какой-то тайной...
Клянусь вот этой бородой,
Ты не певец родного края,
А то бы песнь твоя, рыдая,
Печальной повестью давно
Ласкала б слух... Но все равно,
Быть может, шел ты издалека
К Наibu передать привет
От Джамбулата, то жестоко
Промедлил... Старика уж нет... —
Глухим, подавленным рыданьем
Дополнил речь его кунак...
— Чем объяснить, ответить как
Его слезам, его страданьям? —

Решал в раздумии глубоком
Черкес...

— Аллахом и пророком
Тебя мы заклинаем, брат, —
Признайся, ты...

— Я Джамбулат...

III

У крайней сакли, под навесом,
Играет с маленьким черкесом —
Сынишкой — молодая мать.
Она старается поймать,
А он, бутузик, убегает...
Хохочет... Вот упал... кряхтит...
Она проворно подымает
Его, целует... он визжит,
Барахтаясь в ее объятьях...
Блажен, кто матери в занятиях
Служить помехой в детстве мог!
Но... что за робость?.. Чрез порог
Калитки Джамбулат не смеет
Переступить в счастливый двор...
Как ночью малодушный вор,
В виду своей добычи, млеет,
Томится и дрожит в засаде...
Вперед — нет мужества шагнуть,
Назад — позорным мнится путь, —
Куда же?.. Джамбулат в досаде
Сжал челюсти... «Ужель с щепком
Холопа ей не надоело
Дурить?» — и мощным кулаком

В калитку постучал он смело...
Внезапный стук смутил на время
Ребенка... Молодая мать
Пошла к калитке... «Гость — не бремя», —
Адату этому послушна,
Она привыкла принимать
Его во всякий час радушно.
Дверь растворяется проворно,
И пред хозяйкою, задорно
Облокотясь на посох свой,
В широкой шляпе и с сумой
Предстал знакомый нам кунак.
Взгляд гостя, как огонь, пытливый
Смутил хозяйку... Словно мак,
Зарделись щеки... Взор стыдливо
Погас в ресницах... на устах
Улыбка замерла красиво...
Работа путалась в руках...
Огнем неизъяснимой тайны,
Волнуясь, трепетала грудь...
Но не надолго...

— Гость случайный, —

Она промолвила, — твой путь
Тяжел, далек, сомненья нет...
Но всем, кто ни проходит мимо
Убогой сакли, я привет
Передаю от Ибрагима, —
Не откажи его принять... —
Она, казалось, овладела
Собою, но очей поднять
На «пастуха» еще не смела...
Момент... другой, — и взгляд пришельца
Ей разум объяснил не так,
Как смутно объясняло сердце, —

И вновь пред ней стоял кунак,
Пастух усталый и голодный...
Его костюм простой, свободный,
Его осанка, смелый взгляд,
Улыбка — ясно говорят,
Что он из гор...

— Благодарю
Сердцами правящего бога!
Твое приветствие у порога
Я, как святыню, схороню
В душе моей... Благодарю!
Красавиц видел я немало,
Но грудь мою ты взволновала
Иным восторгом, — я горю
Любовью брата... Никогда
Твой голос нежный не забуду;
В минуты счастья и труда
Я за тебя молиться буду
Всегда, везде... Я прост, ты видишь, —
Пастух не может быть иным...
Я знаю, скоро ты забудешь
Мои слова; как снег, как дым,
Как клятвы юности незрелой,
Они исчезнут без следа
Из памяти... что за беда!
Прости, пастух я очень смелый, —
Таким красавицам, как ты,
Смешны восторги и признанья,
Забавны пылкие мечты
И скучны при луне свиданья, —
Вот ваш обычный недостаток!
Прости, что гость твой больно падок
На откровенность... Не всегда
Таков я... Праздная болтливость

К нощлегу не сберет стада, —
А здесь... где женская стыдливость
Не терпит юности затей,
Дичится радостей свободы,
Где слово мужа, визг детей —
Источник счастья и невзгоды,
Где ложны клятвы и обет,
Здесь промолчать... уменья нет!..
Ты видишь, гость твой не скучает...
А если подадут пирог,
Волчком заходит турий рог, —
Забавен пастушок бывает...
— Кунак веселый ест немного
И напивается водой;
Он никогда не судит строго
Прием хозяйки молодой,
А потому могу я смело
Просить в кунацкую его, —
Не прогневишь.

— Вот это дело!

Я ждал лишь слова твоего, —
Ведь басней соловья с тобою
Нам не насытить, — но теперь
Благословляю всей душою
И твой привет, и эту дверь...
Я мужа твоего знавал...
Мы часто в альчики играли...
Он лучше всех нас воровал, .
Но мы его за трусость звали
Тихоней... О тебе, скажу,
Я знаю только понаслышке...
И мальчик ваш?

— Да.

— О сынишке

Не знал... и больно накажу
Его, разбойника, за это... —
Какая странная примета,
Читатель, узнавать людей:
Мы вызываем у детей
Испуг и слезы поцелуем,
Когда неискренно целуем,
Когда не любим их... Поверь,
И Джембулат хотел теперь
Притворно приласкать ребенка,
Но он не дался, — мальчик звонко
Заплакал и — скорей, скорей —
В объятия матери своей!
Табу всеправедному богу!
Табу хозяевам! Пора!..
Но гостя выпить на дорогу
Хозяйка просит из «тура».
— Я опьянею...

— Добрый путь!..
Ты пьешь здоровье Ибрагима...
— А чтоб вас вместе помянуть,
Скажи мне имя...

— Я — Фатима...
— Одну Фатиму знал и я.
С тех пор красавицу такую
Я не встречал... Как дочь родную,
Как равнокровное дитя,
Князей почтенная семья
Ее взрастила на свободе... -
Одна другой звучней, милей,
Как о волшебнице, о ней
Слагались повести в народе...
Смотринам не было конца...
Но стать женой... нет, невозможно! —

Старик ей заменял отца,
А юный князь... О, как безбожно,
Как непомерно наказание!..
За Сунжей вспыхнуло восстание..
И князь исчез в бою одним
Бесследно... Но беда не в том, —
Пусть он убит, казнен на плахе,
Все ж лучше, чем...

— Жених был жив?! —

Хозяйка перебила в страхе.
— Казалось, нет. Так порешив,
И старый князь стал падать духом.
Вторым ударом он убит:
Красотка, доверяя слухам,
Позорит клятвы, не щадит
Родных адатов и тайком
Выходит за раба...

— Довольно!

О ней доскажешь мне потом...
Ты мне о князе молодом
Не все сказал...

— Длинна уж больно

И не занята речь о том,
Как он в плену, в цепях железных,
В темницах, в подземельях тесных
Грустил и думал лишь о ней,
Лишь о красавице своей..
Как, наконец опять свободный,
Он к ней пришел большой, голодный
И встретил безучастный взгляд..
— Но — имя князя?

— Джамбулат...

— Пастух! прости... я вся сгораю..
Я не могу владеть собой,

Все это — сказка... да? Я знаю,
Что князь убит...

— Он пред тобой!..

IV

Объята сакля тишиною...
Лучины тусклый полусвет
Бессильно вздорит с темнотою...
Уж полночь... Ибрагима нет...
Ребенок спит спокойно, мило...
Самой Фатиме не до сна, —
Всю ночь прождать она решила,
И ждет... задумчива, грустна...
Вдруг легкий стук... Она вздрогнула...
Шаги все ближе... Нет, не сон!
Приехал, думает... взглянула
И изумилась... Что ж!.. не он...
Не муж... Пред нею очутился,
Как призрак ночи, Джамбулат...
— Ах!.. Это ты?

— Да... Заблудился...

Застигла буря... ночь, как ад —
Ни зги не видно... Нет дорог, —
Размыто все... Мосты сломало...
Признаться, досталось немало, —
Едва, едва добраться мог...
Но все прошло, и — слава богу! —
Сбирайся, — дорог каждый час...
Нас кони ждут... Абы в дорогу,
А там пусть нагоняют нас...
— Что ты сказал?..

— Ничтожным страхом

Не оскверняй начатый бой
С холопами...

— Клянусь аллахом,
Обиды никогда такой
Я не ждала от Джамбулата...

— Не любишь ты!..

— Люблю, как брата,
Мне небом посланного вновь...

— Не больше?

— Это ль не любовь!
— Фатима!.. Полно! Где же слово,
Где клятвы наши и обет?..

— Теперь не воскресишь бывшего,
Не требуй, не ищи, — их нет...

— Изменница!..

— Ждала я долго...

Суди, легко ли ждать, когда
Кругом все осуждают строго
Мой возраст, девичьи года?
Просить руки моей, как счастья,
Шли и уздени и князья
И, не найдя во мне участия,
Чернили клеветой меня...
Боролась я четыре года...
Мне не легка была свобода
Такого выбора, поверь,
Но все ж я счастлива теперь...
Я не ропщу... Нарушив клятвы,
Дала я верности обет...
Кормлюсь плодом нелегкой жатвы, —
Где труд, там преступленья нет.
Благословлять мой выбор скромный
Обязан был бы ты, как брат,
А ты вступаешь с ночью темной

В союз... Опомнись, Джамбулат!
Перенесла я слишком много,
Чтоб так бездушно разрушать
Мою святыню... Бойся бога, —
Теперь я замужем, я мать.
— Жена продажного холопа
И мать щенка...

— Не оскорбляй!..
Позорна, князь, такая злоба...
— Прости... Но после не пеняй!

Объята сакля тишиною...
Лучины тусклый полусвет
Бессильно вздорит с темнотою,
А Ибрагима нет и нет...
В углу, на тахте, безмятежно
Вкушает сладкий, мирный соп
Ребенок... Мать склонилась нежно
Над ним и плачет... Из окон
Уж брезжит голубой рассвет...
Лучина слабо догорает, —
То вспыхнет, то совсем стухает...
А Ибрагима — нет как нет...
Пахнуло утром... тень редееет...
Чуть-чуть румянится восток...
Щебечет ласточка... бледнеет
Звезда. Рокочет чуть поток...
Скрипит арба... но... мимо... мимо!..
И снова в сакле тишина.
Фатима... бедная Фатима
Все ждет и ждет... ни грез, ни сна!
Дрожит как лист... И кто узнает,
Какая цепь забот и дум
Гнетет, щемит и надрывает

Усталый изнуренный ум!
С какой тоской, с какой любовью
Она склонилась к изголовью
Ребенка... Что сказать ему
Она хотела?.. Но к чему?!
Малютка спит... Святые грезы
Его не в силах разогнать
Ни тихий плач, ни эти слезы,
Какими обжигает мать
Его чело, его ланиты...
— Спи, милый! Дорог этот сон, —
Нет в мире радостней защиты...
Придет пора, — ослабнет он,
Иссякнет, и, когда проснешься,
Поймешь, почувствуешь, дитя,
В каком отчаянье тебя
Лобзала мать, и — ужаснешься...
А до тех пор ничто земное
Да не нарушит светлых грез! —
Весь мир, вся жизнь не стопт слез,
Не стоит твоего покоя! —
Но... дверь, как будто бы рукой
Волшебной, растворилась снова,
И в сень, глядевшую сурово,
Окутанную полумглой,
Черкес вступает молодой...
Его не видят... Осторожно
Снимает бурку он с себя...
— Так изнурять себя безбожно,
Фатима!..

— Ты?! Ждала тебя...

— Я мог приехать раньше, позже, —
Ужель должна сидеть всю ночь?
Ведь этим путнику помочь

Ты не могла...

— Вернулся... боже!..

— Фатима! Плачешь?.. Что случилось?

Ребенок болен? Говори...

— Нет... Он здоров... как сердце билось...

Не дожидаясь зари, —

Все бредила сырой могилкой...

Теперь прошло... ты здесь, мой милый,

И я спокойна... Ты устал?

Промок под ливнем... голодал...

Но ничего... я накормлю

Тебя превкусным пирогом.

— А я трусиху удивлю

За это шелковым платком...

— Ах, Ибрагим, зачем напрасно

Всегда расходуешь свой труд...

— Нет, ты падень... Вот так...

прекрасно, —

Таких не видывали тут...

— Ты плохо ел...

— Я сыт... довольно...

Вот только новостями больно

Скупись ты...

— Вернулся брат...

— Какой?

— Не помнишь... Джамбулат...

V

Проснулся царственный Казбек,

Восход приветствуя румяный.

Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный...
Лениво выползают горы
Из облаков... Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.
Проснулись мирные черкесы...
В ущелье тесном, где аул
Венчает грозные отвесы,
Клубится пыль и слышен гул
Лихой забавы скакунов...
Бегут стада... и над скалою
Ползет прозрачной синевою
Дым хлопотливых очагов...
Проснулось все... Прошла дремота,
Рассеян мрак... повсюду свет...
Ликует мир... кипит работа,
И все живое свой привет
Шлет солнцу...

За Шайтан-горою,
В кустах, меж грудами камней,
Поросших мохом и травой,
Ползет тропинка, словно змей...
За дичью раненой, шальной,
В тущобах горных запоздалый
Охотник иногда домой
По ней спускается усталый;
С сумой, ремнем и топором,
Тяжелой удрученный думой,
По ней взбирается с трудом
К опушке дровосек угрюмый;
На посох длинный опираясь,
Порой пастух по ней несет

С коша¹ в аул душистый мед
И сочный сыр... Теперь, цепляясь
За камни, плющ, кусты и мох,
То, как ребенок чрез порог,
Переступая чрез преграды,
По ней взбирался Джамбулат.
Куда? Зачем? Какой награды
Он ищет здесь?.. Тревожный взгляд,
Как зверь затравленный, блуждает,
Не отдыхая ни на чем...
Горячий пот с чела стекает...
Расстегнут ворот, за плечом —
Вся слава дедовских побед —
Ружье с насечкой золотою...
За пояс воткнут пистолет;
Кинжал оправой дорогою
Играет с солнечным лучом...
Башлык болтается небрежно...
Тревога тайная во всем!
А мир!.. Баюкая так нежно,
Чаруя дивной красотой,
Манит, ласкает до забвенья,
До слез, до сладкого томленья...
Простор... приволье... тишь... покой!..
Чуть слышен неустанный гул
Во мгле зарытого каскада...
Игрушкой кажется аул...
Как муравьи, расползлось стадо
По яркой зелени. Пастух
За ним бредет неторопливо...
Вот он запел... Ему игриво
Повсюду вторит горный дух:

¹ Стоянка. (Прим. авт.)

Аллах всемогущий,
Аллах вездесущий,
Велик ты в творенье твоём!
Полны чудесами
Земля с небесами, —
Премудрость твою мы поём...

И степи, и горы,
И реки, и доли,
Озера, моря и леса,
От края до края
Тебя прославляя,
В гимн стройный слыли голоса.

Но вот тропинка обогнула,
Как ад, зияющий овраг,
Змеей по скату промелькнула
И затерялась в кустах...

Но вот опять в траве зеленой
Лоснится ленточкой. Пред ней
Волной прозрачной и студеной
Журчит и искрится ручей...
Опа слегка к волнам склонилась,
Чуть-чуть их влагой оросилась,
И, сделав с камешка прыжок,
Перескочила на песок...
Взглянула весело назад
И побежала шаловливо
На луг... в кусты... к камням... на скат...
И под утесом, горделиво
Главой подпершим свод небес,
Мелькнув еще раз бледно, бледно,
Ушла совсем, ушла бесследно
В дремучий, вековечный лес...

VI

Как здесь легко, как здесь привольно!..
Как хочется прилечь, уснуть...
Как робость тайная невольно
Теснит, волнует сладко грудь!..
Мир сказок, мир теней, прохлады,
Волшебных грез... Везде кругом,
Густым увенчаны шатром,
Стоят столетние громады...
Вот липа... К ней склонился клен
И шепчет что-то... К груди белой
Чинары тянется несмелой
Рукой орешник... Он влюблен
В нее давно, но... что за пара!
Она, красавица чинара,
Царица леса, он пред ней —
Смешной, уродливый пигмей!
Вот старый дуб... Идет рассказ
О нем, излюбленный народом,
Большой, таинственный... Под сводом
Его могучим свой намаз¹
Творят охотники — обычай
Бессменный исстари для всех;
Сюда же вечером с добычей
Они приходят на ночлег...
Лишь ночь — и ярко запылает
Костер... Польются песни, спор...
И долго, долго им внимает
В полудремоте черный бор...

¹ Н а м а з — молитва. (Прим. авт.)

Но не охотникам одним
Так дорог этот дуб заветный:
В минуты отдыха под ним
И дровосек мечтает бедный
Скорей укрыться от забот...
Вот и теперь из чащи леса
К нему выходят два черкеса,
Вступают под широкий свод
Гиганта, и к его стопам
Бросают топоры небрежно...
— Нет, видно, не угнаться нам
За ним, — он дьявольски прилежно
Работать стал...

— Разгадка в чем? —

Была б моей женой Фатима,
Тогда б под княжеским бичом
И я не меньше Ибрагима
Кичился рабским трудолюбьем...
Не будь ее, и он бы людям
Служил за вьючного осла,
Как я... Она его спасла
От нищеты и рабской лени, —
Жена его всему виной...
Лишь с нею он рука с рукой
Взобраться мог на те ступени,
Что незаслуженно сейчас
С холопом разделяют нас...
— Стыдись, товарищ! Ты до брани
Несправедлив... Из нищеты
Могли бы выйти, при желанье,
Как Ибрагим, и я и ты;
Но выбор сердца молодого
Княжны сказался лишь на нем

Не потому ли, что во всем
Ущелье не было другого,
Кто мог бы поравняться с ним
Неутомимостью в работе?
Как я, как ты, и Ибрагим
Родился в яслях... но к свободе
Никто из нас его любовью
В своей неволе не пылал...
Трудом, облитым потом, кровью,
Он раньше всех свободным стал...
И что ж? Награда по заслугам:
Фатима, вопреки людской
Молве, решилась быть женой
Его и неизменным другом —
И не ошиблась... До сих пор
Ничто их счастья не туманит;
Приветливо зовет и манит
Прохожего усталый взор
Их сакля прихотью воздушной.
Всегда готов прием радушный;
Всегда есть пенящийся рог
Густого пива и пирог.
Жизнь наша изменилась много:
Кто недоволен, а кто рад, —
Судить грешно, — ведь все от бога...
Но вот хотя бы Джамбулат...
Потомок княжеского рода...
Джигит, каких я не встречал,
Был славой, гордостью народа...
Попал к гяурам в плен... бежал...
Вернулся к нам — и паш он снова...
Но что застал он из былого?
Полуразрушенный аул
И башню без ребра и скула!..

С Наибом умерла и слава
Винтовок, пашек, скакунов...
Меж тем для княжеских сынков
Не по руке еще забава:
Соха, топор и наш ремень...
Холопов нет, трудиться лень,
А голод, говорят, не тетка, —
И вот, как старая подметка,
Вздымая пыль, сгущая грязь,
В народе топчется и князь,
Отцов наследье проживая...
И жалок он, да и смешон...
Равняться с нами не желая —
Ты посмотри, — чем занят он?
С винтовкой, на коне, весь год
Скитаясь по аулам дальним,
Воспоминанием печальным
Везде смущает лишь народ...
Везде, едва-едва терпим,
Подарки вымогает силой...
Таков и Джамбулат наш милый...
Боюсь, что бедный Ибрагим
С женой намыкаются с ним...
Боюсь, что очень, очень скоро
У них он будет на хлебах,
И предки князя от позора
Начнут ворочаться в гробах...
Но... посмотри... ужель под вечер
Меня обманывает глаз?
Там кто-то был... заметил нас
И скрылся...
— Нет... должно быть, ветер,
Играя стройною чпнаркой,
Встревожил трепетную тень...

Но полно... Подымайся, старый!
Пора и нам рассеять лень
И косточки промять от скуки...

Бор... темный бор... глубокий бор...
Бешмет промок... немеют руки...
Все глуше падает топор,
И все большее грудь вздымает
Тяжелый вздох... И кто узнает,
Как много сил и много дней
Здесь отнято у Ибрагима!
Но все же многих он бедней
В ауле... Что ж? Неумолимо
Его преследовал всегда
Жестокий рок. Ребенком глупым
Служил он, круглый сирота,
Забавой детям сытым, грубым...
Полунагой, полуголодный
Ходил за стадом... Жил и рос
В конюшне темной и холодной,
Доил коров, сгребал навоз...
За промах всякий, всякий вздор
Его ругали, били, драли...
А уходил на волю, — дали
Ему веревку и топор.
И как работал, как он бился!
Не знал покоя день и ночь...
Построил саклю и влюбился
На горе в княжескую дочь...
В борьбе с безумною мечтою
Жизнь стала пыткой... Видит бог,
Хотел покончить он с собою,

Но сердце побороть не мог.
Ползли без ласки и участия
За днями дни... Куда? Зачем?
Как вдруг, на удивление всем,
Сама княжна, — какое счастье! —
Сама красавица княжна
Спасла его от этой муки:
Холопу первая она
С любовью протянула руки...
И он воспрянул... Снова грудь
Полна надежд... Свободен путь...
Силен, здоров, и, слава богу, —
Зачахнет бедность понемногу, —
Пусть только спорится работа!..
Сегодня дикая природа
Внимает с самого утра
Глухим ударам топора...
Здесь места нет тщедушной лени...
Но полно! Золотой каймой
Охвачен лес, густеют тени, —
Пора!.. Он грязною полкой
Провел по смуглому лицу
И усмехнулся... «Ну, не даром, —
Пробормотал он, — знать, купцу
Я угожу своим товаром.
Однако надо торопиться...»
Он взял топор и зашагал
Между деревьев... Вот струится
Родник знакомый. Он припал
Устами жадными к воде...
Напился... Широко вздыхает...
На мягкой, темной бороде
Струя жемчужная играет...

Он снял ее и поднял взоры
К просвету... Снеговые горы
Прощались с солнцем, — близок час
Вечерний совершить намаз...
Он сел... разулся... снял бешмет
И начал мыться... «Помни бога
Всегда, везде...» — и как он строго
Хранит излюбленный завет
Своей Фатимы дорогой!..
«Бог милостив... В его лишь власти
И наша жизнь, и наше счастье».
Бедняжка, как она порой,
Его в дорогу провожая,
Чуть не в слезах, чуть не рыдая,
Советует беречь себя...
«Работать меньше?.. Чтоб другая
Была наряднее тебя...
Нет, нет!.. Еще не раз просила...»
И что-то чуть слегка сказило
Его лицо... но на устах
Тотчас улыбка зазмеилась, —
Он рассмеялся... Чу! в кустах
Вдруг что-то щелкнуло, сломилось...
«Должно быть, заяц... Ах, косой!
Отделался одним испугом, —
Ружья нет, жаль, а то с тобой
Была б расправа по заслугам».
Но все уж стихло... Он нагнулся
Опять к воде и улыбнулся...
«Должно быть, жутко ей одной, —
Боятся темноты почной...
Какой-то непонятный страх...»
И он слегка наморщил брови...
«С тех пор, как Джамбулат в горах...

Ужель она боится крови?..»
Но снова шелест под кустом!..
Раздался выстрел... Он, как гром,
По всем ущельям прокатился,
Гудел, трещал, шипел, дробился
И долго, долго не смолкал
В далеких отголосках скал...

«Быть может, голубок влюбленный
К своей подруженьке летел», —
Заслышав выстрел отдаленный,
Пастух заметил вдохновленный,
Вдохнул глубоко и запел:

В гнезде молодая
Голубка тоскует, —
Дружка поджидая,
Все стонет, воркует...

Лети, голубочек,
Лети, дорогой!
Твой милый дружок
Грустит день-деньской...

Увы, он молениям
Ее не внимает.
Что скорбь и томленье,
Коль сам не страдает!

Не жди, дорогая! —
Сраженный стрелой,
Твой друг, умирая,
Простился с тобой...

VII

Вершины гор в лучах заката
Огнем пылают золотым...
Ползет в аул лениво стадо...
Из очагов клубится дым...
Одела тень холмы, долины...
К реке спускаются толпой
Черкешенки... Давно водой
Налиты звонкие кувшины,
Но нет конца игре веселой,
Девичьим песням и речам, —

И пусть! В неволе их тяжелой
Пусть хоть безумолчным волнам
Поведают мечты и горе...
Слеза смешается с волной
И быстро унесется в море...
А песнь над бурною рекой
Бессильно глохнет, все равно!..
Проехал кто-то... Помешали...
Ну что ж... пора, пора давно! —
Сегодня слишком запоздали...
А что ж Фатима? Что ж она
На берегу сидит одна?
Ведь все ушли... На цепи снежной
Погас давно румянец нежный...
Прохладой веет с синих гор...
Рыдает, стонет бесприютно
Седой поток... Темно... безлюдно...
Меж тем Фатима до сих пор
Сидит, — считает будто волны, —
С потока не отводит глаз...
Но их не счесть, в вечерний час

Они мучительно проворны...
Ужель поет?.. Чуть реют звуки,
Чуть льется песнь, но сколько грез,
Но сколько в ней душевной муки,
Любви и затаенных слез!

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...
Жду, мой милый, тебя, —
Поспеши осушить мои слезы.

Вновь к тебе, милый мой,
Я склонюсь головой,
И спою тебе песню былую...
Расскажу тебе вновь
Про тоску и любовь,
Обойму горячо, расцелую...

В порывах волн, лаская слух,
Последний звук еще летает
В прозрачном воздухе, как вдруг
В глазах Фатимы вырастает,
Как тень, с улыбкой неприветной,
С тревожным взором, наш герой...
Предчувствия хлынули рекой,
Вскружили ум красотки бедной,
До боли прищемили грудь...
Момент, другой, — она очнулась
И, как безумная, метнулась
К тропинке, но он занял путь...
— Пусти!.. —
Он злобно усмехнулся...

— Чего ты хочешь?

— Ты моя...

— Несчастный! поздно ты вернулся, —
Фатима умерла твоя...

Зачем тебе мое паденье?

Ужели не довольно слез,
Тоски, унынья, озлобленья,
Разбитых юношеских грез?

За что ты так неумолимо
Тревожишь сон души больной?
Пойми, я все для Ибрагима —
И честь, и счастье, и покой.

— Их нет теперь, как нет проклятья,
Каким клеймила их любовь... —

И он раскрыл свои объятья...
Фатима вздрогнула... Вся кровь
Из сердца хлынула к мозгам...

— Уймись, глупец! Я не отдам
Честь матери на поруганье...
Коль нет ни капли состраданья
В тебе, то... —

Сделав шаг назад,

Она порывисто пригнулась,
Схватила камень, размахнулась...

— Убей!.. — промолвил Джамбулат. —

Убей, но выслушай, молю,
Ты прежде исповедь мою...

Не смерть страшна, — меня пугает
Твое презренье... Бог лишь знает,
Как все во мне полно тобой,
Как я люблю тебя, Фатима...

Не будь тебя, тебя одной —
И жизнь была б невыносима,
Грязна, позорна, как тюрьма.

Фатима... вспомни ты сама
Часы томительной разлуки!
Я перенес все эти муки...
В цепях железных, под кнутом...
И все ж, чтоб стать твоим рабом,
Преодолею я все преграды...
А ты!.. Ужель другой награды
Не заслужил я?.. Что ж... убей!
Вся жизнь моя была твоей...
А помнишь ли, когда, бывало,
Всходил лишь месяц золотой,
Лишь вся природа засыпала
Под кровом ночи голубой, —
Спешила ты в мои объятия...
— Молчи, молчи!.. всему проклятье!
Не нам указывать судьбе...
— Нет, нет, Фатима... Нет, в тебе
Исчезнуть не могли бесследно
Восторги райских тех ночей!.. —
Лицо Фатимы было бледно;
Из бархатных, больших очей
Катились слезы по щекам...
Она молчала...

— Боже правый!
Ужель всю жизнь пустой забавой
Придется оставаться нам
В руках судьбы? Ужель решилась
Расстаться навсегда со мной?..
— Да, да... Прощай!..

— Так нет же, стой!
Ты права этого лишилась,
Голубка, — ты моя теперь...
— Безумец! прочь!.. Нечистой кровью
За все ответишь мне, поверь...

— Я заплачу за все любовью...

— Клянусь Кораном, Ибрагим

Отмстить сумеет...

— Сомневаюсь, —

Он перестал уж быть твоим...

— Что ты сказал?!

— Изволь, покаюсь,

Невелика, несложна тайна.

Чем обладал он лишь случайно,

То слишком пламенно любил

Твой Джамбулат... и он... убил... —

Договорил ли он иль нет?

Но голос дрогнул замогильный,

И взор потупился... В ответ

Ему послышался бессильный,

Едва, едва приметный стон...

— Фатима!.. — простонал и он...

Она, как ландыш, похилилась...

Но он успел, — она свалилась

К нему на грудь...

Над спящим миром

Плыл тихо месяц золотой,

С ущелья веяло эфиром...

В постели каменной, крутой,

То злобно в пену разбиваясь

О груди неприветных скал,

То вновь в каскады собираясь,

Неугомонно бушевал

Поток... Над ним, в объятьях брата,

Как труп безжизненный, лежит

Фатима... Сердце Джамбулата

Тоской беспомощной щемит...

О чем жалеть?.. На что пенять?..

Но вдруг... да, да! жива опять!

Открыла очи... Как спокойно,
Как медленно блуждает взгляд
В лазури неба, где так стройно
Светила вечные парят...
— Где я? — промолвила тревожно
Фатима, проводя рукой
По лбу, и встала... — Невозможно!
Спала на круче, пад рекой!..
И как я только не свалилась!..
Где ж мой кувшин?.. Его здесь нет...
Ты не видала? — Обратилась
Она с вопросом... Лунный свет
Ей разъяснил ее ошибку, —
Бедняжка думала улыбку
Подруги встретить, а пред ней
Мужчина, незнакомый ей...
Она внимательно взглянула
Ему в лицо...

— Ты кто такой?

Зачем ты здесь?

— Пойдем домой... —

В ответ ему она зевнула...

— Как холодно... Опять подуло
Могильной сыростью из гор.
Поток все плачет... До сих пор
Не может пересилить горя,
Не может слез своих унять...
Его там успокоит море,
А здесь... здесь некому понять
Чужой тоски... И я точь-в-точь
Рыдала так над Джамбулатом...
Нет, я боюсь...

— Мой друг, ты с братом,

Не бойся...

— Ах!.. убийца... прочь!.. —

Как зверь, ужаленный стрелой,

Она рванулась... побежала...

И где-то в темноте ночной

Еще раз дико простонала:

— Убийца! — и захохотала...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не гневись же, читатель, что я утомил

Своим скучным рассказом внимание...

Но, поверь, мне Кавказ так несказанно мил,

Что ищу до сих пор с ним свиданья.

Был недавно... Проездом опять заглянул

В те места, где блуждал я когда-то...

Не узнали меня... Изменился аул, —

Вместо сакли — турлучная хата...

И обои и печи... Висят зеркала

Вместо пашки, ружья, пистолета...

Неизменно одна над аулом скала

Диким мохом, как прежде, одета...

Так же гордо молчит, тот же пасмурный взгляд

На аул, на мосты, на дорогу...

Изменяется все — и язык и наряд...

Деньги наши в ходу, слава богу!..

Есть и школы... Я видел — из хаты одной

Вышел с книжкой, босой и без шапки,

Мальчуган... и еще... тот в рубаше цветной, —

И посыпались чуть не десятки...

В это время какая-то женщина тут

Проходила в лохмотьях, босая...

Мальчуганы за ней! — с дружным смехом бегут,

В нее грязью, камнями бросая...
На все выходки их она только порой
Отвечала забавною бранью:
— Погоди, шалунишка, придешь ты домой, —
Я тебя без отца затираню...
— Кто такая? — невольно вопрос я задал. —
Отчего она так нелюдима?
— Сам недавно я здесь, — мне духанщик сказал, —
Сумаспешная, видишь... Фатима...
Был сынок у ней... Верись, — учитель разжал
С горла мальчика грешные руки...
Ну, спасибо, весной инженер приезжал
И увез, говорят, для науки...
Так осталась одна... и, как видишь, весь день
Себе места нигде не находит...
По ночам над рекою блуждает как тень
И безумную песнь свою водит:

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...
Жду, мой милый, тебя, —
Поспеши осушить мои слезы!..

1889—1895



ПЕРЕД СУДОМ

Я ваш теперь... Мое признание
Смягчит ли строгий приговор?
На что вам имя, год и званье?
Судите! Я убийца, вор.
Я не боюсь позорной казни, —
Давно готовился я к ней;
Как с грязной ношею своей,
С преступной жизнью без боязни
Всегда расстаться я готов,
Как за добычею в овраге
От рук подвластных мне воров,
Так и в цепях, в петле, на плахе.
Судите! Жизнь меня не манит, —
Мне в ней не дорого ничто, —
Добром, конечно, не помянет
Эски-разбойника никто!
Кому обязан я рождением,
Клянусь, — не знаю до сих пор,
Тяжелым, грустным сновиденьем
Началось детство в дебрях гор.
В лохмотьях, грязный и босой
Я рос по княжеским задворкам,
Выл по ночам голодным волком
И петухом кричал зарей...

Кому в младенческие годы
Судьба готовит, как рабу,
Неволи тяжкие невзгоды,
Тому к позорному столбу
Нестрашной кажется дорога.
Чем я успел прогневать бога, —
Свидетель бог, — не знаю сам,
Но я страдал не по годам...
Для взрослых я служил забавой,
А для детей был пробой сил —
Худой, тщедушный и плюгавый;
Меня при встрече каждый бил,
Без нужды... так... за то, что слаб...
Не помню ласкового слова
Ни от кого, — всегда лишь раб,
Холоп — и ничего другого!
Кругом других детей ласкают,
А я для всех всегда чужой...
За что ж меня лишь презирают,
Бранят, глумятся надо мной, —
За что? — взывал я. Нет ответа.
Искать его в себе самом?
Но мог ли разгадать я это
Своим младенческим умом!
За что один я так наказан?
Кто мать моя? Где мой отец?
Кому страданием обязан?
Кто я? — Скажите наконец!
«Холоп» — мне слышалось повсюду
В ответ, — другого званья нет, —
Я это слово не забуду.
«Холоп» — но это ли ответ?!

Как медленно тянулись годы
Бессилья, зависти и слез,

Сознания смутного свободы,
Ночей без сна и сна без грез!
Мне шел четырнадцатый год,
Когда мне поручили стадо...
Как я любил шум водопада,
Вершины гор, небесный свод
И скал задумчивых молчанье!
Я понял птицы щебетанье,
Невнятный шепот, шум лесов.
Я чутко отвечал на зов
Орла, парящего в лазури,
Я понимал стенанье бури
И ветра заунывный вой...
Любил я рапнею весной
В уборе праздничном природу,
Любил, как юный пастушок,
Свой посох, стадо и рожок,
Любил я жизнь, любил свободу...

В аул на праздник Магомета
Из гор охотно я ходил, —
Весь день, всю почь там до рассвета
В пирах и пляске проводил.
Меня так ласково встречали,
Что я готов был навсегда
Забыть тяжелые года
Былых невзгод, былой печали...
Немало зарождали дум
Во мне красоты мирозданья;
Потока горного журчанье
И грозный водопада шум
Ласкали часто па свободе
Таковыми песнями мой слух,
Каких не знал никто в народе, —

Их пел, их ведал лишь пастух.
За них меня и принимали,
Как гостя, потчевали все, —
И те, которые так гнали
Меня когда-то, даже те!
Холопа нет, раба не стало, —
Я был пастух, но «человек».
Кто в детстве поплясал немало
За черствый просяной «чурек»,
Тот после смелою стопою
Выходит из толпы в кружок
И за красавицей младою
Плывет, как по морю челнок...
Я танцевал легко и плавно,
И все черкешенки со мной
Вступали в танец круговой
С восторгом, с радостью... Забавно, —
Не отличаясь красою,
Между подругами порою
Я будто поселял раздор...
Иль так пленял их мой убор?
Рожок и шляпа полстяная,
Тяжелый посох и сума,
Приволье с рабством совмещая,
Сводить красавиц мог с ума?
Не знаю... Но, пастух бездомный,
Я сжился с мыслью — «выбор мой»,
И сердце подарил одной,
Всегда задумчивой и скромной
Княжне Залине... Но вам чужды
Неволи беспросветной нужды,
Волпенье молодой крови, —
Вам не понять моей любви!

Да и на что вам знать тревоги
Согласно бьющихся сердец?
Где судьи и законы строги,
Там все решает лишь конец.
К чему вас утомлять признаньем
Излишним? Я сказал, кто я.
Вся жизнь моя была проклятьем,
Вся повесть — гнусная петля.
Безумный раб, холоп ничтожный,
Щенок, подкинутый судьбой, —
Я, мыслью ослепляясь ложной,
Открыто выступил на бой
С адатом родины суровой.
Я полюбил весь мир, весь свет
И дерзко требовал в ответ
Себе какой-то жизни новой —
Свободы, равенства и счастья...
Я дерзко требовал у всех
Любви и братского участия,
А встретил ненависть и смех...
С каким глубоким омерзеньем
Я был отвергнут!.. Стыд, позор...
Гнетущий страх пред пошлым мнением
Толпы злорадной... Брань и спор...
Насилье... девичие слезы...
Вконец поруганная честь...
Врагов озлобленных угрозы
И крови жаждущая месть...
Припомнить все теперь нет силы,
Но жизнь свою, — свидетель бог, —
На холм безвременной могилы
Тогда же променять я мог...
Все, все Залина погубила
Своею страстью роковой!

Зачем, безумная, любила,
Страдала, мучилась со мной?
Чего достигли мы любовью?! .
Весной, когда пронесся слух
О свадьбе, я забросил плуг...
Пошел... и обагрился кровью...
День гас... Румяный луч зари
Мерцал на Эльбрусе вдали...
У камня, посреди долины,
Убил я жениха Залины...
А остальных, — их было много, —
За что и где? Не знаю сам...
Я помню лишь, судил я строго,
Не внемля стонам и слезам...
Теперь я ваш... Без состраданья
Пусть судит и меня закон;
Я не рошщу, — мое признание
Не слезы, не мольбы и стон
Перед позорною могилой, —
Ее я заслужил с тех пор,
Как я назвал Залину милой
И та потупила свой взор...
Судите! Преступленьем новым
Не искуплю свою любовь, —
Потоком будет течь багровым
И без меня людская кровь...
Сказать «прости» родному краю,
Как прежде, не могу теперь...
В железо скованный, как зверь,
Я ненавижу, презираю
Улыбку радостного дня...
Жизнь будет краше без меня,
А смерть... Увы! — зачем лукавить? —
Она поможет позабавить

С моею повестью печальной
Моих суровых палачей...
За что привет Эски прощальный
Прошу Залине снесть моей!..

1893 (?)



КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО

(Подражание Н. А. Некрасову)

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На городском бульварчике
Сошлись под вечерок
Семь выгнанных чиновников,
Отчисленных начальников,
Правителей, грабителей
Народной нищеты...
Под липою развесистой,
На лавочке окрашенной,
По старшинству, по выслугам
Уселися рядком.
Кряхтят... Глазами мутными
Обводят всех гуляющих
И с мундштуков черешневых
Сосут табачный дым.
Подходит к ним развалисто
Старик в холщовом кителе,
В ботфортах препоясанных,
В фуражке боевой.
Глаза его навывкате.
Усы его с подвесками,

И палка сучковатая
В мозолистой руке.
Чиновники раздвинулись
И дали место новому
Соратнику бульварному.
Садится... Все молчат.
— Читали, — басом выпалил
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
Сегодняшний приказ?
Правитель канцелярии,
Иван Иванович Хапанцев,
Уволен по прошению
От должности своей...
— Иван Иванович? Батюшки!.. —
И новость скандальная,
Как шилом, приподняла их
С окрашенной скамьи.
— Иван Иванович Хапанцев...
Не он ли осторожнейший,
Не он ли гениальнейший
Меж нами был делец?
Он сам дарил чиновников,
Он сам сменял начальников, —
И вдруг ему капут.
За что такое времечко
Застигло нас тяжелое?
Дохнуть нельзя чиновнику —
Ложись и помирай!..
Иван Иванович!.. Бедненький...
Ведь это осторожнейший,
Ведь это гениальнейший
Чиновник... Ах, как жаль!
— Вам жаль? Его — мошенника, —

Вновь как из бочки выпалил
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
Я выгнал бы давно!..
Иван Иванович Хапанцев,
Бесспорно осторожнейший,
Бесспорно гениальнейший
Меж вами был паук.
Вы все собирали крупными,
А он себе тихохонько
И с нищего, прохожего
Абаз последний брал.
За корпус и гимназию
Вы брали бы три радужных,
А он мне дал стипендию
За тридцать два рубля.
Но все ж его грабителем
Могу назвать по совести
Всегда, везде, при всех.
А служба наша царская,
Обязанность гражданская
И правда современная
Не терпят уж воров.
Да и о вас, почтенные,
Хотя вы мне товарищи,
Скрывать не стану истины —
В Сибири место вам!..
— Кого в Сибирь? За что в Сибирь?! —
Окрысились чиновники,
Как совы встрепонулися,
Кричат на все лады.
— Вы криком беспорядочным, —
Начал уже октавою
Старик в усах с подвесками

И с сучковатой палкою, —
Меня не испугаете:
Я старый воробей.
Хотите слушать истину —
Я вам ее поведаю
Сейчас же без прикрас.
И сами вы уверитесь,
Что вам, друзья любезные,
За все дела служебные
В Сибири только жить.
Вот ты хоть, Голубятников,
Взгляни ясней на прошлое:
Каким путем-дорогою
Ты угодил под суд?
Родился чуть не за морем.
Приехал к нам с родных степей
В страну лесов, в страну зверей —
Признайся-ка, зачем?
Не доблесть ли гражданская,
Не служба ли отечеству
В такую даль туманную
Тебя влекли? Ничуть!..
Не знал, куда на родине
Свою склонить головушку,
Припущенный, обиженный
И богом и людьми;
Озлобленный, оборванный,
Едва-едва лишь грамотный,
Ты в этот край «погибельный»
Пустился на авось...
И что ж? Успех огромнейший!
В то время незабвенное
Ценили очень дорого
Таких плутов, как ты...

Начав почти со сторожа,
Сгибаясь в три погибели,
Змеей вползая в щелочки,
Ты быстро шел вперед.
Страстям покорный пизменным,
Ты нивы благодатные
Топтал ногами грязными
Усердно, как лакей.
Без чувства благородного
Везде, у всех и каждого
Ты чувства благородные
Старался подорвать.
Как враг объединення,
Любви и примирения,
Ты внес в среду народную
Лакейство и разлад.
— Чего плестись сторонкою, —
Метнулся Голубятников
И, головой мотаючи,
Бессвязно стал визжать: —
Сорока белобокая
Сильнее празднословием —
Ты факты мне подай!
— Изволь, изволь, любезнейший, —
Держал ответ с улыбкою
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
За фактом не стою.
Считай: в селе Неелове
Ты Фомку Конокрадова
За лошадь иноходную
Назначил старшиной;
Писцом села Дырявина,
Пустопорожней волости,

Назначил ты острожника
За бурку и башлык;
Поймав почтограбителя
И сняв с него дознание,
Ты с ним вошел в компанию
И взял в задаток шаль;
Писцов своих записывал
Ты в конную милицию
И сам их содержание
По штату получал;
С наград и содержания
Подведомстных чиновников
Удерживал, как должное,
Двенадцатую часть...
— Ах, батюшки!.. Совсем чудак... —
Тут взвизгнул Голубятников: —
И знаки уважения
Считает он за грех!
— Га! Знаки уважения... —
Заготовил неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
Покручивая ус: —
Изволь, изволь, любезнейший,
Тебе поверю на слово,
Но это все ведь присказки,
А сказка впереди.
Едва, едва фамилию
Свою умел подписывать,
А тут талант писательский
Ты обнаружил вдруг.
По селам и урочищам
Уезда Терпигорева

Плоды своей поэзии
С курьером рассылал.
Твой приговор *общественный*
По полноте и замыслу
Навряд найдет соперника
В поэзии мировой.
Народные традиции,
Поверия, обрядности
Разрушить не задумался
Ты почерком пера.
Для проявления радости
И горя не замедлил ты,
Под страхом разорения,
Создать один шаблон.
Параграф за параграфом,
Как птицы перелетные,
Тянулись вереницею,
Выкрикивая: *штраф!..*
«Кто стянет из-под курочки
Янчко полутухлое, —
Параграф усмирительный
Ты вставил в заключение, —
Того вдобавок *сечь*».
И эти нарушения
Законов государственных
Ты в селах терпигоревских
Заставил подписать.
«А если кто откажется, —
Писал приказ ты с нарочным, —
Того связать и тотчас же
Ко мне!.. Он бунтовщик!..»
И приговор *общественный*
По селам и урочищам

Уезда Терпигорева
 Был припят как закон.
И тепь лишь подозрения —
И с мала и с великого,
Толпе на посмеяние,
Народу в посрамление,
 Ты стал снимать портки.
И штрафы вереницею,
Как птицы перелетные,
Отвсюду потянулись
 В бездонный твой карман.
И этой *верой-правдою*
Ты в центре Терпигорева,
Как вызов правосудию,
 Воздвиг кирпичный дом.
И к вдовушке безвременно
Усопшего начальника
На долг двадцатитысячный
 Ты вексель предъявил.
И все б сошло, как должное,
Но жадность непомерная
И подати казенные
 Хотела поглотить...
Вот тут тебя и сдапали,
Вот тут-то ты и съежился...
И жаль, что не спровадили
 Тебя на Сахалин.
— Да, жаль, что не спровадили, —
Заерзал Голубятников
И, головой мотаючи,
 Добавил: — Право, жаль...
Чем у себя на родине
Среди друзей-приятелей

Сносить лишь оскорбления,
Так лучше Сахалин. —
И грустью беспредельною,
И мыслью безотрадною,
Как тучей беспросветною,
Подернулись глаза;
И зонтом парусиновым,
Глубоко опечаленный,
Безмолвно, бессознательно
Он стал ширять песок.
— Ну, ну, прости, любезнейший, —
Смеясь, прервал молчанье
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою: —
Прости, — я пошутил.
Хотел лишь по-приятельски
С тобою позабавиться,
А ты уж и насупился.
Ну, полно, говорю...
Известно нам доподлинно,
Что парень ты бесхитростный
И на скамью грабителей
Ошибочно попал. —
И он рукой мозолистой,
Заготовав неистово,
Приятеля поникшего
Похлопал по плечу.
И речь его игривая
Поправилась чиновникам,
И все они улыбочкой
Почтили старика.
— А ты чего оскалился? —
Свернул он неожиданно

К соседу праворучному,
К Подлизову Кузьме.
И сладкая улыбочка
Под взором вызывающим
Исчезла, как видение, —
Мой Кузька заалел.
— Грехи, грехи тяжелые
Достались нам в наследие
От первых прародителей, —
Старался он шутить: —
И кто из нас, наследников
Адамовых и Евиных,
Свободен в убеждениях?
Безгрешен только бог...
— Завидную теорию, —
Заговорил октавою
Старик в усах с подвесками, —
Вы создали себе.
Но в этом снисхождении
К неволе человеческой
Немного оправдания
Для воров и плутов.
А вот тебе, любезнейший,
Надежды на спасение
За пошлость виртуозную
В талмуде даже нет.
Едва ли не с рождения
Ты зависть неусыпную
И злобу ненасытную
Воспитывал в себе.
Под маской миролюбия
Лишь чувства озлобления
Ты к людям без изъятия
Предательски таил.

Улыбкой изощренною
И лаской лицемерною
Ты сердце незлобивое
К себе располагал.
Затем его доверие
И теплое участие
Для целей мерзопакостных
Топтал и попирал...
Но речью отвлеченную
Внимание просвещенное
Почтенных собеседников
Не буду утомлять:
Подробной анатомией
Сердчишка загрязненного
Я воздух упоительный
Не буду насыщать.
Я память ослабевшую
Верну лишь к обстоятельствам,
Имеющим значение
Немалое для нас.
Окончив курс училища
В селе Неурожаеве,
В сельское же правление
Ты поступил писцом.
Талапты не замедлили
Тотчас же обнаружиться:
Подложной перепискою
Ты наводнил уезд.
Но тесной показалася
Арена подвизания,
Карьера незавидная
Дурачить мужиков.
Надеясь на способности,
Ты перешел в губернию

И в должности сверхштатного
Три года проскрипел.
Три года был помощником,
И наконец зачислили
Тебя столоначальником...
Мой Кузька зашагал.
За тридцать лет служения,
Смиренного усердия
И всякого «способия»
Ты власть заполучил,
И мысли затаенные,
И думы сокровенные
На воле беспрепятственной,
Как розы, зацвели;
Квартирами казенными,
Холодными и теплыми,
Ты без зазренья совести
Принялся торговать;
Правления и должности,
Смотря по их доходности,
Ты вора и грабителям
В аренду стал сдавать;
И грошики арендные
За пастбища, угодия,
Леса, лиманы рыбные,
Озера и пруды
В сундук твой несгораемый,
Ошибкой непонятною,
Слетались, как к волшебнику,
Волшебные рубли.
Наука современная
И светочи познания
Найти в тебе сочувствия,
Конечно, не могли:

Делишки нечестивые
Питаются потемками,
И умопомрачение
Для них — что пчелам мед.
И начал ты, любезнейший,
Под разными предлогами
С народным просвещением
Позорную борьбу.
Доносами фальшивыми
Ты выжил представителей
Наук сельскохозяйственных
Из сел и деревень,
А их места и должности
Продал своим сподвижникам, —
Сельская экономия
Попала в твой карман.
Пошли потом гонения
На сельские училища:
Слизнул ты безнаказанно
Лишь пять начальных школ;
Зато, признав рассадником
Крамолы в Терпигореве
Уездное училище,
Ты скупал и его.
Когда же из гимназии
За лень и тупоумие
Погнали Митрофанушку —
Сынишку твоего,
Ты даже и гимназию
Признал для населения
Тлетворным учреждением, —
Прихлопнул и ее.
По счастью, и ревизия
Нагрять не замедлила, —

И вот тебя, голубчика,
Прикрыли самого... —
Блеснул зарей багряною
Тут взор правофлангового,
Ивана Зуботычева —
Подлизову Кузьме
Он был большим приятелем,
Любил его побаловать,
Любил ему потворствовать...
Ванюха рассерчал.
— Зачем же, брат, напраслину
Ты взводишь на товарища,
Как на злодея лютого? —
Прервал оп старика. —
Так поносить почтенного
Кузьму Пантелеймоныча,
И так уж загрязненного,
Безбожно и грешно.
Начальные училища
Он закрывал, поссорившись
С училищной дирекцией,
И он не виноват.
Директор вольнодумничал
И сельские училища
В притоны вольподумия
Нарочно обращал.
Сместит ли оп учителя,
Пошлет ли заместителя —
О них директор рапортом
Кузьме не доносил.
Кузьма не по-народному
Служил хоть просвещению,
Но все ж средю народную
Не он ли сторожил?

Известно нам тем более —
Гимназию в Болотове
И школу в Терпигореве
Закрыло «общество». —
Загототал неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
Покручивая ус.
— Я очень рад, любезнейший, —
Ответил он октавою, —
Что ты Кузьме Подлизову
Не хочешь изменить.
И он тебя, голубчика,
В минуту жизни трудную
Под градом правосудия
Частенько выручал.
Немало вы морочили
Почтеннейшую публику...
И что за глупым козлицем
Далось вам «общество»?!
— Кому далось козлицем? —
Взъерошился Иванушка. —
Пожалуйста, к Подлизовым
Меня не причисляй!
Хотя мы с ним приятели,
«Калехи» по училищу
Села Неурожаева,
Но я с ним ни-ни-ни!
— Ах, Ваня, Ваня, Ванечка, —
Заметил укоризненно
Кузьма Пантелеймонович, —
Какой же ты подлец!
С тобой-то мы, сердечные,
Не год, не два, как в сказочке,

И горести и радости
Делили пополам.
И наша неширокая
Дорога разветвилася,
Когда уж с «генеральшею»
Ты закрутил роман.
И как могла так втюриться
Особа с воспитанием
В болвана беспримерного —
Ума не приложу.
Наперекор традициям
И вопреки приличию,
Пришлось оставить барыне
И мужа и детей.
— Зачем дела семейные, —
Прервал его с усмешкою
Старик в усах с подвесками, —
Публично поносить.
Я лучше вам поведаю,
Как стала эта барыня
Ивану Зуботычеву
Дорогу пролагать.
Припомни-ка, Иванушка,
Каким огромным дурнищем
Меж всеми сослуживцами
Ты выглядел всегда!
С каким же самолюбием
И гордой непреклонностью
Смотрела эта барыня
На строгий суд толпы!
С тобою, горемычная,
Три года целых мучилась,
Чтоб ты, хотя по праздникам,
Сморкаться стал в платок.

Какая ж масса времени,
И мужества, и стойкости
С ошибкой непростительной
Убито на тебя!
Но все ж привычки хамские,
Как родились с Иванушкой,
Так и умрут, наверное,
С Ванюхой удалым.
Но баба-неудачница,
Тигрица кровожадная,
Ни пред каким препятствием
Она не постоит.
И стала наша барыня
Для достижения в обществе
Былого положения
Изыскивать пути.
Она, как баба умная,
Смекнула, без сомнения,
Откуда к брату нашему
Вольготней подойти.
В то время незабвенное
Мышиные жеребчики,
За ласку мимолетную
И беглый поцелуй,
Бросали безнаказанно,
Как краденое золото,
В башмак пикантной барыньки
Присягу, долг и честь.
И этих-то жеребчиков,
Как и везде, в Болотове
Такое было множество,
Хоть вешай каждый день.
С коварною политикой,
Умело и обдуманно,

На них-то наша барынька
Открыла свой поход.
Законами стратегий,
Секретом нападения
И всей фортификацией
Владела так, как я.
И ласками, и глазками,
Улыбками, ужимками
Она умела вовремя
Удары наносить.
Ликерами, наливками,
Солением, варением
Она умела вовремя
Попотчевать «врага»:
Лакея ли, швейцара ли,
И кучера, и дворника
Мышиного жеребчика
Умела приласкать.
И, как в волшебной сказочке,
Из рога изобилия
На голову Иванушки
Посыпались чины,
Награды, повышения
По службе и по должности...
И Ваня удивляется:
«Откуда мне сие?»
И Ваня ухмыляется,
Что быстро подвигается,
И даже в восхищении
Сморкается в платок.
И миру православному
На диво невиданное
Ивану Зуботычеву
Дают большой уезд.

Три пары коней впряжены
В карету восьмиместную —
По полю, полю чистому
Несется наш Иван.
И с гиком беспорядочным,
Пальбой и джигитовкою
За ним несутся всадники,
И пыль стоит столбом.
И села и урочища
Уезда Безотрадного
Встречают Зуботычева —
Выносят хлеб да соль...
И к люду православному
Выходит, подбоченясь,
Высокий, статный молодец,
Ванюха удалой.
И шапка нахлобучена,
И брови понахмурились,
И ноздри порасширились —
Начальство ведь Иван!
И *общество* с покорностью
При виде этой *строгости*
Пред Ваней преклоняется
Почти что до земли.
— Ну, как живете-можете? —
Он держит *речь* к собранию.
И все ему отвечают:
— Покорно балдарим...
— Я рад, я рад, ребятушки, —
Смягчается Иванушка, —
Что все у вас в исправности...
— Покорно балдарим!.. —
И люди православные
Приходят в умиление,

Что лучшего начальника
Не знали никогда.
— Вот, ваше выскородие, —
Тревожат уже жалобой
Ивана Зуботычева
Седые старики: —
В село-то наше бедное
Идут иногородние;
Не знаем, как избавиться, —
Земли-то у нас нет...
У них работа спорится,
И хлеб их лучше родится,
И глаже их худобушка...
Не знаем, как и быть!
Дают сполна арендные,
И должностным и писарю
Всегда творят повинности,
А все богаче нас...
Отец, кормилец родненький,
Воззри на нашу бедственность,
Будь нашим благодетелем,
Как быть нам — научи!..
— Как быть? — И Ваня хмурится. —
Как быть? Пишите приговор,
И их, бродяг, мошенников,
Из сел гоните вон!.. —
И люди православные
Приходят в умиление
И говорят так искренно:
— Покорно балдарим. —
Садится снова козырем
В карету восьмиместную
И вновь по полю чистому
Несется наш Иван.

И с гиком беспорядочным,
С пальбой и джигитовкою
За ним несутся всадники —
 Ликует наш Иван.
Чиновники потупились...
Хоть повесть непристойная
Во всех ее подробностях
 Знакома им давно,
Но шутки неуместные,
Болтливость беспардонная
И правда беспощадная
 Смутили их совсем.
В безмолвном исступлении
Глядит на обличителя
Ванюха ошельмованный,
 Пыхтит, как паровик;
И ноздри раздуваются,
И под бровями грозными
Зрачки зеленоватые
 Вертятся колесом.
Но вот, по старой памяти,
В защиту Вани выступил
Кузьма Пантелеймонович, —
 Какой ни есть, а друг!
— Нехорошо, мне кажется, —
Зашамкал он двусмысленно,
Чтоб угодить и Ванечке,
 И боевым усам. —
 Нехорошо... Субтильные
Дела своих приятелей
На воду родниковую
 Не надо выводить.
Притом мы все, как водится,
И хлеб и соль Иванушки

С немалым наслаждением
Вкушали иногда... —
Заготовил неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
Покручивая ус.
— Ты прав, ты прав, любезнейший! —
Ответил он Подлизову. —
Мы хлеб и соль Иванушки
Глотали день и ночь;
Но это объедение
И пьянство безвозмездное
Для Вани Зуботычева
Была большая честь.
Без них ему, наверное,
Никто из вас, почтенные,
На почве независимой
Руки бы не подал.
К немалому прискорбию,
И скатерть самобраная
Не всем чревоугодникам
Могла зажать уста.
Не ты ли втихомолочку
При всех удобных случаях
Злословил Зуботычева,
Признайся-ка, Кузьма?
А мы, — не правда ль, Ванечка? —
Чем чаще вместе кушали,
Тем больше и настойчивей
Табак курили врозь.
Но все ж могу по совести
Твоим делам общественным
Всегда воздать я должное
Без злобы мелочной.

При редком тупоумии
В пародном управлении
Ты превзошел тактичностью
Коллегу своего.
Чиновникам подведомственным
И писарям правления
Давал ты содержание
Без вычета, сполна.
Хотя места служебные
Порой как милость барскую
Ты раздавал надежнейшим
Лакеям, но зато
В торжественные праздники
Любил ты представительство
И дух объединения
В народе развивал:
В метель и стужу зимнюю
Сзывал ты в Безотрадное
Под видом представителей
Народных пауков;
Засаленных, неряшливых,
Ты их вводил торжественно
Под звуки бальной музыки
В общественный кабак.
И вина разноцветные,
Как море разливанное,
И речи, речи льстивые
Лились всю долгу ночь.
Кутили *представители*,
Кутили, упивались,
Начальству небывалому
Хваленье воздая...
И Ваня ухмыляется,
И Ваня наслаждается,

И даже в восхищении
Поет, кричит: ура!..
Но Ваня не справляется,
Что им и представительством
Совместно пропивается
Общественный пятак.
Какое дело Ванечке,
Как достается обществу
Бокал объединения?
Дают — бери и пей!
Ведь в селах и урочищах
Уезда Безотрадного
Такое представительство
Велоса уж давно!..
И не тобой начатое —
Тобой лишь поддержалось;
Народные обычаи
Любил ты, — спору нет, —
И *знаки уважения*
С почетных представителей
Ты брал как исключение,
Щадя лишь их адат.
И кто тебе осмелится
Сказать, что вымогательством
Из лошадей отборнейших
Составил ты косяк?
За это снисхождение
К народному обычаю
Безропотной покорностью
Тебе платили все;
А если проявления
И были непокорности,
То долго ль *возмутителей*
Пресечь и укротить?!

Приказами по волости
Ты стариков заслуженных
Бесславил, как крамольников,
И гнал со схода вон.
И в селах и урочищах
Уезда Безотрадного
Твои предначертания
Встречали как закон;
Лишь чабанам засаленным
И крупным лесопильщикам
Давал ты аудиенцию
При запертых дверях...
Но брюхо наше грешное,
Безмерно расширяясь,
Не знает насыщения, —
Провал его возьми!
И в селах и урочищах
Уезда Безотрадного
Был принят беспрепятственно
Твой косвенный налог.
С кабатчиком Дурмановым
Вошел ты в соглашение
И с ним во всех селениях
Духаны откупил,
И люду православному,
Как к храму просвещения,
Одну дорогу торную
К духану указал.
И пьянство поголовное
Огнем всепоглощающим
Росло и разливалось
Рекой по деревням.
Тяжелые, ленивые,
К работе непривычные,

Совсем, совсем забросили
Хозяйство мужики.
И как уж ни старались
Старшины и десятские —
Деревни недоимками,
Как лужи, зацвели.
Сменялись и десятские,
Карались и чиновники,
А подати подушные
Никак не соберут!..
И дал ты предписание,
Чтоб меры энергичные
По селам и урочищам
Немедленно принять.
И стали с дикой ревностью
Старшины и десятские
Последний скарб крестьянина
Кабатчику сбывать.
И это разорение
Мужик бы, верно, вытерпел,
Да бабы голосистые
Без умолку ревут...
Старшины подстрекательниц
Начали «парить веником», —
Мужья их заступилися...
Бунтуют мужики!..
Вот тут-то и чиновничек
С секретным предписанием
Нагрянул в Безотрадное,
Как мартовский снежок... —
Не выдержал Иванушка:
Вскочил он, подбоченился
И гаркнул зычным голосом:
— Замолкнешь ли, усач?! —

И дрогнули чиновники,
И липа покачнулася,
И листья изумрудные
Посыпались дождем.
— Ну, ну, — ответил с хохотом
Старик в усах с подвесками
И сучковатой палкою, —
Молчу, молчу, молчу...
Напрасно ты щетинишься
Общественному мнению:
Я о тебе ведь нового
Ни слова не скажу;
А голос правосудия
С трибуны беспристрастия
Названьем подобающим
Тебя уж оклеймил...
Даюсь лишь диву дивному,
Как вас, друзья любезные,
При ваших ухищрениях
Переловил закон!
Иван и Голубятников,
Подлизов, даже Хапанцев
Страдали недомыслием,
Ну, а вот ты, Рубков? —
И током электрическим
По жилам, по поджилочкам
Соседа леворучного
Прошел его вопрос.
Рубков — чиновник пухленький,
Лицо, как роза майская,
Глаза, как мыши в норочках,
По пояс борода, —
И, как пред казнью лютою,
Глаза блеснули ужасом,

И краску бледность смертная
Согнала вмиг с лица.
Рубков чиповник с выдержкой
С бонтоппым воспитанием,
Картавит не без грации:
 Чегек, бокаг вина!
Порывы увлечения,
По месту и по времси,
Умеет регулировать,
 Как клячу водовоз.
И здесь из замешательства
Он вышел победителем:
Нп словом оправдания
 Он не почтил вопрос.
Лпшь взором умоляющим
Взглянул на обличителя,
И чуть заметно дрогнула
 Над правым глазом бровь...
Безмерно разговорчивый,
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою
 Доволен был и тем.
Болтливый по призванию,
Он ищет собеседника,
Как камень, терпеливого,
 Немого, как фореель.
— Моргать, дружище, нечего! —
Вдруг гаркнул он придирчиво, —
И что за оправдание,
 Кривляться и моргать?
Манера непристойная!
Не ты ли воспитанием
Пред всеми сослуживцами
 Кичился, как индюк.

В каких ты разновидностях
На сцене подвизания
Не изощрял способностей
Своих, как виртуоз!
И было чем похвастаться!..
Таланты разнородные,
Как в луже инфузории,
В тебе кишмя кишат.
Живучесть их кошачая,
Значенье их немалое,
Заслуги их пред родиной
Толпе не оценить.
На поприще художника
Ты поставлял начальникам
Узоры вышивания
И метки для белья,
Резцом владея скульптора,
Дарил ты самодельными
Игрушечными саклями
Начальничьих детей.
Одна богиня музыки
К тебе, по недомыслию,
Затылком повернулася —
Рубков не музыкапт!
Но дело поправимое —
Ты в слободском училище
Из мужичков чуть грамотных
Образовал оркестр.
Дудят, пищат и щелкают
Толпе на удивление,
Тебе на повышение,
На горе лишь отцам.
Несут они повинности
Для школы той немалые,

Чтоб слить науки разные
В один «Персидский марш».
Являясь председателем
Дырявинского общества
Законных истребителей
Пернатых и зверей,
Ты слободского школьника
Избил нагайкой до крови
За то, что он на площади
Поранил воробья;
Тогда как в назидание
Дырявинскому обществу
Ты дичью запрещенною
Питался круглый год.
В народном управлении
Ты был таким же гением,
Каким был, без сомнения,
Ванюха удалой.
Адаты и обычаи
Дались тебе до тонкости,
А дело представительства
Для вас — волшебный клад.
Все годовые праздники,
Начальство и ревизию,
Непрошенных и прошенных,
Знакомых и родню
Торжественно, напыщенно
Встречал ты с представительством, —
И все расходы *праздника*
Невольпо нес народ.
Пути ли сообщения
Исправлены меж селами
Хозяйственными средствами,
Засажен ли бульвар,

Общественные пастбища,
Леса ль в аренду отданы, —
Зови гостей из города,
 Гуляй, кричи — «ура»!
И пили *представители*
В шатрах из яркой зелени,
Начальству и строителям
 Хваленье воздая.
Зато уж о ревизии
Мирских казначейств
Никто из представителей
 И пикнуть не посмей.
Систему вымогательства
И виды расхищения
Сельского сбережения
 Ты применял с лихвой.
Любитель этнографии,
Знарок старинной утвари,
Ты для *музея* нового
 Открыто грабил всех.
Занявшись джигитовкою,
Из полукровных *аглицких*,
Адату не препятствуя,
 Ты сколотил табун.
Зато в среду народную
Ты внес цивилизацию, —
Плодами просвещения
 Объелись мужики.
Мирскими сыроварнями,
Мирскими лесопильнями
Расстроил ты мякинные
 Желудки их вконец.
Как призрак Змей Горыныча,
Теперь еще им чудится

Одно название лютое —
 Общественный завод.
А как мечтали, глупые,
Разбогатеть заводами!
Чего, чего лишь в будущем
Им не сулил ты, плут!
«Уж в первый год излишками
Внесем в казну повинности,
А там пойдет...» Поверили!
 Дают все дураки!
Явились немцы умные,
Пошла работа дружная,
И денно-нощно гикают
 Пронзительно свистки.
Несется быстро реченька,
Широкая, обильная,
Та реченька молочная
 В общественный завод.
В подвалах, словно в лавочке,
Битком набиты полочки
Заморским сыром, — вот оно
 Мужицкое добро!
Несется быстро реченька,
Несет леса сосновые —
Казенные и частные —
 В общественный завод.
Пилите шибче, пилочки,
И дайте нашей волости
Труды и гроши кровные
 Скорее возместить.
И ждут... настанет времечко,
Что ты за них излишками
Внесешь в казну повинности...
 Потеха, да и все!

Тогда лишь только, глупые,
Очухались и поняли,
Какую шутку пошлую

Ты с ними разыграл,
Когда уж было следствием
Формально установлено,
Что все заводы выстроил
Кабатчик Бурсаков.

И этим проявлениям
Талантов и способностей
Немало протезировал
«Писательский талант». —

Послышалось хихиканье
Максима Лизоблюдова,
Известного редактора

Позорного листка.

— Хи-хи, талант писательский! —
Он не смолчал *по принципу*, —
Рубков талант писательский!.. —

И закатился вновь.

— Так что же я, по-твоему, —
Задал вопрос Максимушке
Старик в усах с подвесками, —
Выходит, значит, вру?

— Зачем же... нет... я только так... —
Залебезил Максимушка, —
Рубков писал отчетности
Обедов и чаев...

— Отчетности? Вот то-то же! —
Загоготал неистово
Старик в усах с подвесками, —
Выходит — он талант!

Я знаю вас, писателей!
Признать в другом способности

К газетной публицистике —
Для вас булатный нож.
Отчетности!.. А мало их?
И что тебе обидного?
Равнять Рубкова, кажется,
Не думал я с тобой.
Ты публицист уж признанный,
И «Ведомости Мерзкие»
Такого литератора
Не скоро залучат.
Букетом специфическим
И краской возмутительной
Газета Любоедова
Обязана тебе.
Ее передовицами
И *письмами* из-за моря
Ты кинул грязью в общество
И осквернил печать.
Талант неиссякаемый!
Перо неистощимое!
И Яше-юродивому
Далеко до тебя.
Хотя у Яши пасквили
С не меньшим обобщением,
Но краской либеральнойю
Его прикрыта ложь,
И бранью юродивого
Не всякий возмущается, —
Его задача явная:
За строчку взять пятак.
Совсем другие замыслы
Руководят бессовестно
Пером твоим разбойничьим —
Ты страшный карьерист.

И вскорости, наверное,
Попал бы ты в сановники
С Семеном Людоедовым,
Когда б он не слетел.
Напрасно, брат, ты тужился
Хвалить его *энергию*
И меры *репрессивные* —
Увы! всему капут! —
Обидным показалось
Семену Людоедову,
Что неуместно треплется
Персоны его честь, —
Вскочил он на скамеечку
(Он роста был аршинного),
Сердито топнул ножкою
И крикнул: «Замолчать!»
И замерли чиновники...
Изломанная талия
Семена Людоедова,
Его задорный нос,
Папаха заостренная,
Уста полураскрытые
И, как у мопса старого,
Стеклянные глаза,
Аршинный рост, надменный тон —
Все это, без сомнения,
Заняло на мгновение
Седого усача.
Привстал он, подбоченился
И, взглядом испытующим
Измерив Людоедова,
Принялся гоготать.
И это гоготание
Настолько было жизненно,

Что ломовые лошади
За ним начали ржать.
— Ой, уморил!.. Ой, пощади!..
Ай да Семен!.. Вот удружил!.. —
Стонал старик неистово,
Хватаясь за бока.
И это добродушие,
Как будто солнце ясное
В помоях, отразилось
В чиновничьих глазах.
И лица омраченные
Невольно прояснились,
Невольно зазмеились
Улыбки на устах.
Смеются безбоязненно,
Как в писарской, чиновники...
На что Кузьма — и тот себе
Хихикает в кулак.
Безмерным озлобленцем
Кипела грудь «могучая»
Семена Людоедова, —
О, если б!.. Но, увы!
И память неизменная
Шепнула Сеньке Грозному,
Что время переменчиво,
Что он теперь ничто.
И понял глупым разумом
Тут Сенька необузданный,
Что нарушенья всякие
Клоповником грозят;
Он стиснул зубки острые,
Вернулся к месту прежнему,
Надвинул шапку на брови,

Замолк и засопел...
— Эх, Сенька, Сенька, — вымолвил,
Осилив гоготание,
Старик в усах с подвесками, —
Ты все такой, как был.
Пора забыть бы старое
И с новым положением
Давно бы время свыкнуться,
Чтоб горло так не драть.
Ведь правда не пугается
Ни гика басурманского,
Ни бури сокрушительной,
Ни вражьего меча.
Я разбирал способности
Твоих соревнователей,
А о тебе помалкивал, —
Скандала избегал.
Но ты по старой памяти
Дал волю ненасытному
Инстинкту пресечения
Индустрии чужой.
Но только не на робкого
На этот разик, Сенечка,
Напал ты собеседника,
Что догадался сесть.
А все же для компании
Приятной не мешало бы
Поведать из минувшего
Странички две иль три.
Возьми па час терпения
У Вани Зуботычева
И слушай мою сказочку, —
Ведь, благо, вызвал сам...

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
Богатства были всякие,
Порядку же пи-ни!
Народы разнородные,
Начальство разночинное,
Понять, как вавилоняне,
Друг друга не могли.
И цепь их будто общая,
Стремленья не различные,
Меж тем как раки движутся
Назад, а не вперед.
Приказы циркулярные
И силы непочатые,
Как в дни столпотворения,
Мешаются в хаос.
Причин несовмещения
Желаний одинаковых
В работицу совместную
Немало, спору нет.
Охотно поручил бы я
Максиму Лизоблюдову
Хоть раз по чистой совести
О них заговорить;
Но принцип Лизоблюдова,
Как «Ведомости Мерзкие»,
Построен не на совести,
А на корыстной лжи.
И ради Любоедова
Подвергнуть искажению
Какую хочешь истину —
Максимке наплевать.
А так как повесть мрачная
Не терпит искажения,

То мы уж Лизоблюдова
Не будем утруждать.
Но чтоб не портить сказочку
Холодным изложением,
Я только здесь на главные
Причины укажу.
Живя в стране неведомой,
Народы разнородные
И речь вели по-своему
На разных языках,
И меж собой ископную
Вели вражду... Как водится,
Пред сильными бессильные
Клонили выю ниц.
Но вот пришел из-за моря
В поля те первобытные
С литой стальной пушкою
Могучий богатырь.
Бессильные с охотою
Признали в нем заступника,
Надменных же он силою
Заставил бросить щит.
И рать свою несметную
Он поселил меж селами,
Чтоб между усмирёнными
Порядок поддержать.
И роздал он в наследие
Своим войскам все лучшие
Поля, леса стоячие
За верность их и труд.
И, горе побежденному, —
Народы усмирённые
И села разорённые
Остались без земли.

И, горе неразумному, —
Народы полудикие
Ничуть не беспокоились,
 Что земли их тю-тю.
Расставив по урочищам,
По весям и по волостям
Своих военачальников,
 Могучий богатырь
Умчался снова за море...
Отсюда наша сказочка,
Как из-под камня реченька,
 И стала вытекать.
Причина, значит, первая
Теперь понятна каждому...
И что за жизнь народная,
 Когда в земле нужда!
Меж тем военачальники
По дряхлой, видно, памяти
Пошли переименовывать
 Наказ богатыря.
И, вместо просвещения
Наукой и искусствами,
Начали одичание
 Нагайкой изводить.
И, вместо бережения
Народного довольствия,
Начали грабить каждого
 И днем и по ночам.
И, вместо миролюбия
И чувства благодарности,
В сердцах народных сеяли
 Проклятье и вражду.
Причина эта, кажется,
Совсем немаловажная...

Увы, друзья любезные,
Причастны к ней и вы!
Меж тем летело времечко
И, вместо благочиния,
Росло лишь одичание
В неведомой страхе.
Мудрят, ломают головы,
Понять не могут за морем,
Каким путем-дорогою
Вселить в народе мир.
Одно военачальники
В своих доносят рапортах:
«Никак не можем справиться
С преступным дикарем».
И шлют тогда из-за моря
Что ни на есть сердитого
Старшего, вместо прежнего,
Попавшего под суд.
Мудрит и он по-прежнему,
Пока не проворуетс...
И так до бесконечности,
Как сказка про бычка.
Вот тут-то стала звездочка
Семена Любоедова
Гореть на небе пасмурном,
Как сальник в чердаке.
Ведь службу начал Сенечка
В заморской артиллерии,
Верхом на пушке, бедненький,
Поездил тридцать лет.
В нем лютость пепомерная
Тогда уж обнаружилась,
Тогда уж в озлоблении
Он мог разгрызть ядро.

Начальству не понравилось
Такое молодечество,
И он, простившись с пушкою,
 Подался в писаря.
Писал он в разных волостях
Но, всюду изгопямый
За буйство, начал Сенечка
 Тужить и тосковать.
Но вновь попал он за море,
Где для забавы княжеской
Его, как зверя лютого,
 Держали на цепи.
Но звери кровожадные
Забавны лишь до времени
И, как их ни откармливай,
 Укусят все равно.
Наскучил скоро Сенечка
Боярам думским за морем, —
Не знали, как избавиться,
 Но случай им помог.
Нежданно и пегаданно,
На счастье иль несчастье
Старшой страны неведомой
 Задумал умереть.
И Сеньку Любоедова
Послали заместителем...
Событие чрезвычайное —
 Семену дали власть!

1894 (?)



«СЕ ЧЕЛОВЕК»

I

Все спало, сумраку внимая,
Под кровом почти голубой.
В волнах эфира утопая,
Плыл в небе месяц золотой.
Сплетаясь дивно в хороводы,
Кружились звезды в вышине...
Ничто в полночной тишине
Не нарушало сон природы.
Покрытый царственной славой,
Белеет купол величавый;
Под ним раскинут пышный град...
Чуть реет Гефсиманский сад...

II

Густые пальмы горделиво
Ушли в прозрачный небосклон;
Рокошет чуть, струясь лениво,

В постели каменной Кедрон;
Певец весны замолк усталый...
Не дрогнет лист... Простор, покой...
Чу! Тихий стон... Вот он... босой,
В хитоне, ризе обветшалою,
Стоит коленопреклоненный...
Глаза в слезах, лик изнуренный,
Чело прикрыла прядь волос...
То был молящийся Христос.

III

— Отец, умерь мои страданья, —
Порой слетало с уст его, —
Коль можно, чаша испытанья
Да минет сына твоего.
Да минет час душевной боли,
Скорбей, стенаний, слез, оков...
Но для спасения сынов
Погибших, отче, я по воле
Твоей святой венцом украшу
Главу, со славой выпью чашу, —
Пусть искуплением и кровь
Послужит миру, как любовь...

IV

Он кончил... Узкою тропкою
Идет из чащи... Всюду тишь
И мрак, пронизанный луною.
Вот и поляна. «Симон, спишь?» —

Спросил он ласково. Ни слова
В ответ Христу... Лишь соловей
Вспорхнул из миртовых ветвей...
Своих апостолов он снова
Находит спящими... «Довольно, —
Он молвил им. — Мне очень больно,
Что бодрствовать со мной из вас
Никто не мог в последний час...

V

Вставайте! Осталось немного
Быть с вами мне, мои друзья!
Завет любви храните строго...
Любите, как любил и я;
Молитесь, тверды будьте духом...
За правду выступив на бой,
Не бойтесь жертвовать собой...
Трудящихся зовите другом...
Бегите неразумной ссоры;
Просящему у вас опоры —
Подайте; презирая лесть,
Не зарывайте в сердце месть.

VI

Вас будут бить и гнать — терпите,
За зло не воздавайте злом;
Всех ненавидящих простите
И не глумитесь над врагом.
Спешите навестить больного,
Пошлите узнику привет;

Повсюду разливая свет,
Мрак заблуждения бывшего
Рассейте навсегда в народе
И, приобщив его к свободе,
Любви и братству, к небесам
Идите по моим стопам...

VII

Не бойтесь временной разлуки, —
Пройдя со славой путь земной,
Изведав скорбь его и муки,
Вы скоро встретитесь со мной;
А до тех пор, где двое-трое
Сойдутся, мой завет храня,
Незримо буду там и я
За дело ратовать святое.
Идите с миром... Без боязни
Взирайте, как на место казни
Меня сегодня поведут
Мои враги... Они идут...»

VIII

И точно сад спял огнями:
Повсюду появились вдруг
С пылающими факелами
Толпы вооруженных слуг.
Апостолы пришли в смятение.
Все стало ясно, — враг силен...
Бежать?.. Но согласится ль он?
Другого не было спасенья.

Христос заметил их тревогу.
«Неверные! — он молвил. — Богу
Известно было уж давно
То, что свершиться здесь должно...

IX

Так предоставьте ж участь вашу
Во власть всевышнего творца, —
Сын человеческий всю чашу
Со славой выпьет до конца...
За все, за все я сам отвечу,
Не загрязню вас клеветой, —
Идите с миром все домой,
А я пойду врагу навстречу...»
Апостолы оцепенели, —
Где ярче факелы горели,
Где больше слышалось угроз,
Туда направился Христос...

X

Уже безжалостной расправой
Толпа усталая грозит
Иуде за обман лукавый...
Предатель съежился, дрожит
И ждет удара... Нет спасенья!..
Но кто-то говорит с толпой...
— Кого вы ищите?.. — С собой
Иуда овладел в мгновенье...
Он подошел к Христу поспешно,

Обнял его притворно нежно
И, молвив: — Господи, ликуй! —
Запечатлел свой поцелуй...

XI

Толпа невольно всполошилась...
Пред пей не враг, сомненья нет...
Но этот знак... И разразилась
Веселым хохотом в ответ...
— Наш царь! Ходатай наш пред богом! —
И все пред ним склонились ниц...
На эту панораму лиц,
Сияющих живым восторгом,
На их насмешки, оскорбленье
Христос смотрел без озлобления...
— Зачем, друзья, вы шли за мной,
Как за злодеем, в час ночной?

XII

Но где ж предатель? Суматохой
Успел воспользоваться он, —
И вот окольною дорогой
Спешит пробраться за Кедроп.
«Не дать бы повод к подозрению, —
Он думал. — Лишь бы до утра
Всех известить»... Но вдруг Петра
Встречает он под темной сенью.
— Иуда!.. Ты?.. Что случилось с равви?
— Он там... Но... Боже нас избави

Сказать, кто мы... Всему копец...
Нам не спасти его...

— Беглец!..

XIII

И разошлись. Сверкают латы.
Коптят удушливой смолой
Огни в струе ночной прохлады...
Спаситель окружен толпой...
Идут... Но кто-то преграждает
Дорогу... Кинулся в толпу...
Грозит мечом... Вот он рабу
С проклятьем ухо отсекает...
Толпа как будто онемела,
Как будто объяснить не смела
Причины страха своего
И дивной смелости его...

XIV

И, как в позорном униженье
Пред грозной участью своей,
Стоит безмолвно, без движенья
И ждет удара... Но пред ней
В сиянье радужного круга
Явился сеятель любви...
Заметив признаки крови,
Христос с заботливостью друга
Пред изумленной толпой
Коснулся воина рукой
И силой слова своего
Внезапно исцелил его.

XV

И в это чудное мгновенье,
Глубокий обрывая вздох,
В сердцах рождается сомненье:
А вдруг он в самом деле бог?
Толпа уже затрепетала
Пред этой мыслью, по потом,
Порабощенная умом
Незрелым, дико хохотала...
Один раба по праву друга
Трепал за «фокусное» ухо,
Другой искал кровавый след
Меча, но тщетно, — его нет!..

XVI

К восходу солнца облетела
Столицу страшная молва:
Он пойман, взят, — и с ней густела,
Росла и праздная толпа
Перед преторией Пилата.
Христа судили!.. Каждый взор
Злорадно предвещал позор
Распятья, как убийцы брата,
Тому, кто братские объятья
Раскрыл всем людям без изъятья,
Кто в жертву отдавал себя
Спасенью нашему, любя...

XVII

Вся площадь наводнилась чернью...
В безумной прихоти своей
Она ломилась на ступени
Трибуны царской... Нет для ней
Теперь ни доводов закона,
Ни мощных каменных преград;
Бессильна горечь слез и стона
Внушить и отступить назад...
— Подайте зрелищ, развлеченья
И крови! — Чистые ученья
Ей чужды в праздничном чаду,
Она пьяна, она в бреду...

XVIII

В позорной ярости не зная
Любви и жалости, она
Готова броситься, как стая
Волков, на жертву, как волна,
Сильна, упорна, неустанна...
Не время медлить, — жертвы ей!
Где жертва? Дайте поскорей!
И жертва есть... Кому «осанна»
Вчера неистово кричали,
Чей путь одеждой устилали,
Кого у городских ворот
Встречал восторженно народ,

XIX

Тот брошен разъяренной черни.
Поникнув гордой головой,
Украшенной венцом из терни,
Он вышел в ризе багряной
Навстречу смерти и позору...
Все стихло, смолкло, приросло...
Еще раз покорилося зло
Его божественному взору.
Один намек, одно лишь слово,
И, кажется, толпа бы снова
Могла приветствовать его
Как властелина своего...

XX

Но он молчал, свершая волю
Его пославшего отца.
На узника с душевной болью,
С тоской, сочувствием без конца,
Смотрел и суд... Венец терновый...
Позорный плащ, рубцы и кровь...
За что?.. За братство и любовь,
За мощный призыв к жизни новой,
За свет познания, за свободу?..
Какой позор! Всему народу
Не смыть проклятия вовек, —
Опомнитесь!.. «Се человек...»

Настал миг грозного молчанья...
Он смутно породил в сердцах
Виновников его страдаья
Гнетущий стыд, позорный страх...
Толпа вздрогнула, всполошилась,
Простерла руки уж к нему,
Как диким воплем: — Смерть ему! —
Внезапно площадь огласилась...
Глупцы примера только ждали, —
За ним бессмысленно кричали
В ответ наместнику они:
— Распни его, распни, распни!..

1894 (?)



ХЕТАГ

Горе! Как быть мне? Что делать мне, бедному?
Уастырджи, слава тебе, справедливый!
Дай для фандыра струну золотистую —
Волос один из Авсурговой гривы!

Горе! Как быть мне с фандыром расстроенным?
Кто ты, земляк мой? К тебе мое слово:
Не осуждай ты меня, не осмеивай,
Коль на фандыре сыграю я снова!

Люди в своей похвальбе одинаковы:
Хвалят себя и плохие нередко,
Люди хорошие хвалят и кровника,
Кто превозносит невестку, кто предка.

Как же мне быть? Что же делать мне, бедному?
Кто бы ты ни был, земляк мой, — вниманье!
Лучше — пока похваляться я вздумаю —
Слушай о предках далеких сказанье.

Это случилось давно ли, недавно ли —
Нам достоверно сказать невозможно.
Сам из десятого я поколения —
Правнук несчастный, бесславный, ничтожный.

Если по-горски считать, совмещаются
Хетага время и время Мама;я;
Исстари в нас пребывает от Хетага
Род его, имя и слава большая.

Что же мне делать, земляк мой неведомый,
Чтобы напев мой был звонче и краше?
Как бы тебе мой фандыр ни рассказывал —
Слушай сказанье о Хетаге нашем.

I

К Черному морю с Кубани клочущей
Яростно гонят аланы Мама;я.
Мертвых тела островками качаются,
Вниз по багряной реке уплывая.

Сколько отважных погибло тут юношей?
Скольких печальные матери клпчут?..
С песней живые домой возвращаются,
Гордо неся боевую добычу.

Бяслан летит с Асланбеком п Хетагом —
Первыми скачут три сына Инала.
В битву не взяли отца: где, мол, старому!
Нехотя это и сам же признал он.

Что ж, он остался, но молвил: — Сыны мой,
Горе тому, кто себя опозорит!
— Верь, — отвечали, — не будешь ты пленником,
Нас не постигнет подобное горе!

И оправдали доверие воины —
В гущу сражения ринулись смело.
Кони — как тигры, а сами — как молнии,
Ярко на солнце оружие блестело.

Жизни своей не щадя, беспощадные,
Бились их воины, не уставая.
Вешней лавиной на пришлых обрушились —
Смяли, отбросили войско Мамаю.

И от зари до зари их без устали
Гнали аланы все дале и дале,
Шли по пятам чужеземных воителей —
Всех из родимого края прогнали.

Много побили пришельцев из Азии,
Вражьи сокровища забрали немало...
Вот возвращаются весело воины —
Зная уже над горой засияло...

Кто из мужчин оставался в селениях?
Старцев одних там сковало бессилье, —
Все остальные встречать победителей,
Сакли счастливые бросив, спешили.

Люди стремились к селенью Иналову,
Каждый хотел добежать побыстрее.
Ты посмотри: вся равнина волнуется,
От ребятишек и женщин пестрея...

Конь под Иналом белее, чем облако.
Сколько с Иналом соратников старых:
Славный Солтан с абазехским владетелем,
Таубии, хапы и просто алдары.

Вот и Курган Состязаний наездников.
Песня вдали раздалась боевая.
Гпкнули старые — кони воспрянули,
Словно орлы, на вершину взмывая.

Вот на ковре три подушки турецкие:
Выше — Солтана, пониже — Инала,
Князь абазехский на самую низкую
Сел, но с достоинством, как подобало.

Сели все трое. Как юноши строиные,
Сзади их стали другие дворяне...
Поле качнулось — то воинство прибыло
И развернуло свой стан при кургане.

Смотрит Инал — сыновья его спешились,
Младшим поводья вручили при этом
И, поклонившись ему, седовласому,
К знатым гостям обратились с приветом.

Старцы воскликнули: — Доброго здравия!
Быстро вернулись! Ну, как воевали?
— Даугам слава! — им Бяслан отвечивал, —
Волку мы здорово клык обломали!

Тут обо всех беспримерных событиях
Бяслан поведал подробно, толково.
— Верьте: зарекся насильник отброшенный!
К нам за добычей не сунется снова!

Все, чем набил он повозки походные,
Все, что награбил он, алчный и хитрый,
Он побросал и бежал опозоренный,
По полю мчался побитою выдрой.

Звал понапрасну Мамай своих вопнов, —
Что им владыка, покрытый бесславьем?
Сами сдавались!.. Забрали мы пленников:
На молотбе их работать заставим!

Как рассказать обо всех этих подвигах?
За год едва ль половину б смогли мы!
Более всех удивил своей доблестью
Братец наш младший — наш Хетаг любимый!

— Слава вам, дауги! Слава вам, дауги! —
Провозгласили старейшины громко, —
Этого мужества слава великая
Громом докатится и до потомков!

Любы Иналу сыны его статные,
Встал и глядит на отважных, пригожих.
Как же тут князю сидеть абазехскому,
Если Солтан поднимается тоже?

Глянул Инал на войска свои верные,
Руку простер к ним, как солнце спяя.
Стихло кругом. И воскликнул он: — Воины!
Вам благодарность от нашего края!

О храбрецы! Голова моя старая
Разве оплатит бесстрашие ваше?
Ныне вы все мои гости желанные!
Что ж, отдохнем, попируем, попляшем!

— Слава! Обилье Иналу! — слышалось.
Воинам в скалах откликнулось эхо.
С песнями мимо кургана зеленого
Строй нескончаемый ехал и ехал...

II

Длилось неделю веселое пиршество.
Сколько народу в гостях у Инала!
Пламенных плясок таких, угощения
В мире от века еще не бывало!

В симде кружились нарядные девушки,
Лицом прекрасные, стройные станом.
Больше всего любовались тут все-таки
На дочерей ненаглядных Солтана.

Старшая дочь, Чабахан бледнолицая,
Томная, тихая, словно в печали.
Взгляд ее с ночью соперничал лунною —
«Лунным сияньем» не зря ее звали.

Младшая дочь, Залихан быстроглазая,
Всех веселее тапцует, играет.
Видишь — еще ведь девчонка, а всякому
Сердце, как солнце, она озаряет.

Свататься к ним отовсюду торопятся
И уздени, и князья, и султаны, —
Замуж пора, да на ком остановишься:
Много богатых, но нету желанных.

Шесть сыновей у Солтана у старого,
Только любил дочерей он сильнее:
Девушки грубого слова не слышали,
Душу он им отдавал, их лелея...

Ни в Кабарде, ни в Осетии не было
У молодежи веселья такого.
Но не до пляски на празднестве Хетагу —
Хмурый сидит, не промолвит ни слова.

Смотрит народ на него, удивляется:
Если с врагами он бился так смело,
Как же невзгода героя изранила?
Что за кручина его одолела?..

В верхней кунацкой сидели старейшины,
Старый Солтан тамадою назвался.
Пил он, как нарт, веселился, как юноша,
В здравицах, словно пророк, изливался.

— Гей, позовите-ка Хетага! — отрокам
Крикнул Солтан после здравицы строго, —
Ели и пили мы вдоволь, а младшие
И не пригубили турьего рога!

Хетаг явился и стал в отдалении.
— Ближе! — кивнул тамада головою.
Хетаг приблизился. После моления
Старец сказал ему слово такое:

— Хетаг! О солнце! С отцом твоим доблестным
Долго в соседстве и дружбе я прожил...
Нынешний праздник богатства дороже нам!
Что там богатство? Он жизни дороже!

Храбростью, мужеством всех ты порадовал,
Страшен ты был иноземцу-злодею.
Перед отцом твоим, перед старейшими
Я говорю: буду жертвой твоею!

В жены, о Хетаг, возьми себе дочь мою,
С нею и жизнь я отдам свою даже.
Сам ты из двух дочерей себе выбери:
Лучшую сердце тебе да укажет!

— Слава! — восторженно гости воскликнули,
Так что качнулись высокие стены.
Чаши наполнились — всем он понравился,
Этот Солтана подарок бесценный.

Вдруг — тишина: сам Инал подымается.
— Слушай, Солтан мой, прославленный воин,
Хоть подружились мы в битвах бесчисленных,
Может, подарка мой сын недостойн?

— Вот еще! — снова воскликнули старые, —
Больше, чем Хетагом, кем же гордиться?
Должен, Солтан, породниться ты с Хетагом:
Лучший ведь зять на земле не родится!

— Хетаг! О солнце! Будь счастья владыкою, —
Молвил Солтан, — ты вернулся с победой!
По сердцу ль скромный мой дар победителю?
Прямо об этом Солтану поведай!

Хетаг молчит, словно горем настигнутый...
Нет, никогда не бывало такого!
Стихла кунацкая: разве когда-нибудь
Не находил он достойного слова?

— Славный Солтан! Бог да будет свидетелем! —
Хетаг вздохнул, всей душою болея, —
Если на счастье мне создал он старшую,
Есть ли на свете подарок милее?

Только... я сам тут могу быть свидетелем:
Стать мне женой Чабахан не решится.
Может, поймет она все и почувствует,
С доброю вестью тогда и примчится.

— О, над моими не смейся сединами!
Правды лучи да не будут сокрыты.
Кликните девушек! Если согласие
Даст Чабахан, то ее уличи ты!

Вся молодежь поспешила в кунацкую.
Хетаг во двор незамеченный вышел.
Юношей выгнали. Девушки замерли —
Стало в кунацкой просторней и тише...

Все поняла Чабахан оробелая, —
Вмиг исказилось лицо, побледнело.
Дышит прерывисто, будто бы при смерти.
В землю глаза опустила несмело.

— Слушай, — Солтан обращается к дочери, —
Правды не бойся, стесняться не надо —
Ты на одно дай ответ мне, пожалуйста:
Замуж ты выйти за Хетага рада?

Вздрыгнуло бедное сердце у девушки,
Словно от выстрела сердце газели.
Щеки ее помертвевшие вспыхнули,
Ярко, как звезды, глаза заблестели.

— Если тобою, отец мой, я отдана
На посмеянье народа родного,
Что же скрывать мне, чего же стесняться мне —
Слушай мое откровенное слово:

Нежно и крепко друг друга любили мы,
Слили мы паши мечты и желанья.
Кто б разлучил нас на свете? Но дауги
Нашу судьбу начертали заране.

Слушай: когда он учиться отправился,
К иноку-греку попал он в Тавриде.
К вере суровой склонили там Хетага.
Сам рассказал он, что слышал и видел.

Слышал ученье монахов-наставников,
Видел он крест, мертвеца воскресенье.
Книги там Хетаг читал христианские.
Принял, сказал он, Христово ученье.

Девушка смолкла... бледнеет и падает...
Младшая к ней подбегает в испуге —
И, словно мертвую, в девичью комнату
Дочку Солтана уносят подруги.

Все — и Солтан, и Инал, и соратники —
Окаменели... Беда приближалась, —
Каждый подумал, ни слова не вымолвив:
Как бы сейчас не дошло до кинжала!

— Солнышки, сядьте! — Солтан успокоил их, —
Эта бесхитрость от воспитания.
Сгинь, голова моя: умная девушка,
Жарко любя, лицемерить не станет!

III

Кончилось пиршество. Гости расходятся,
Благодарят, восхваляют Инала:
Как только силы хватило прислуживать?
Где столько яств и напитков достал он?

Вот за ограду арбу кабардинскую
Вынесла пара быков круторогих,
И, джигитуя, промчались наездники
Мимо нарядной арбы по дороге.

Грянула песня: Солтана селение
Вскоре у моста открылось их взглядам.
Дочки Солтана, печальные, бледные,
Едут в арбе, и кормилица рядом.

Мать им навстречу родимая выбежит
С добрым приветом и с лаской во взоре.
Вмиг по глазам обо всем догадается —
Ей ли не чують дочернего горя...

Старый Солтан у Инала замешкался —
Потолковать о случившемся деле.
Сели под дубом на травку зеленую,
На реку долго в раздумье глядели.

Молвил Солтан: — Нам не надо печалиться:
Может, еще образумится Хетаг,
Не отречется от веры от дедовской.
Завтра спроси: что он скажет на это?

Слышал ты, друг мой, ответ моей дочери?
Так! Но любовь разве дело пустое?
В мире все девушки ей позавидуют:
Хетага — головы наши не стоят!

Молвил Инал: — С давних пор твоим родичем
Стать мне хотелось. Клянусь, что родни нам
Лучшей не надо!.. Но что тут поделаешь?
Как породнишься ты с христианином?

Молвил Солтан: — Скачет сердце отцовское
К счастью, что конь к заповедному месту.
Делу счастливому — слово короткое:
Завтра же вашу берите невесту!

И — по рукам!.. И проходят во двор они,
Как женихи, не горюя нимало...
— Добрых вам дней! — На коне приосанившись,
Старый Солтан покидает Инала.

Едет Солтан, по бокам его семеро
Храбрых джигитов... пылится дорога...
Вдруг стариков на нихасе увидел он
И возле них задержался немного.

— С радостным сердцем домой возвращаюсь я, —
Громко сказал он, — прощайте, соседи!
— Рады тебе мы, — ответили старые, —
Даже когда ты далеко уедешь.

Пусть же к поре, как мы снова увидимся,
Славного внука родят тебе дети!
— Лучшего я не слышал пожелания,
Хоть и немало я прожил на свете.

Что же, пусть внука даруют мне дауги!..
Внука? Пусть девять подарят мне боги!
Благодарю вас, живите во здравии!
— Доброй дороги! Счастливой дороги!..

1899—1900



ДУНЯ

ФАНТАЗИЯ В 4-х ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица

Иван Кузьмич Сомов, богатый мещанин.
Марья Павловна, его жена.
Дуня, его дочь от первого брака.
Андрей Михайлович Суйков, бывший оперный артист.
Евдокия Ивановна, его жена.
Николай Васильевич Светлов, кандидат университета.
Мазиллов, художник. } Молодые
Перышкин, литератор. } люди, квартиранты
Трубадуров, музыкант. } Суйковых.
Лаптев, молодой человек без определенных занятий.
Надя Воробьева, подруга Дуни.
Гурчин, приказчик Сомова.
Петр, дворник.
Казанский татарин.
Сидор, человек в доме Сомова.
Дворник. } Без слов.
Володя, мальчик. }

Первое действие происходит в провинциальном городе, остальные — в Петербурге.

ДЕЙСТВИЕ 1-е

Гостинная в доме Сомова.

Явление I

Сомов и Гурчин.

Сомов (*кладет на счета*). Семьдесят восемь рублей пятьдесят копеек... Так... (*читает*) за починку плотины на верхней мельнице шестьдесят три рубля сорок пять копеек (*кладет*), шестьдесят три рубля сорок пять копеек, так... Всего, значит, за июль месяц израсходовано триста двадцать семь рублей пятьдесят пять копеек. Порядком!.. Не знаю, как-то жить будем... Урожай плох, а тут еще по соседству проклятый немец затеял тоже мельницу... Скоро работать начнет... а?

Гурчин. Недели через две пустит.

Сомов. Чего доброго, подорвет... а?

Гурчин. Подорвет, Иван Кузьмич, чего доброго, подорвет...

Сомов. Камни-то у него лучше, а?

Гурчин. Лучше, Иван Кузьмич, камни у него лучше...

Сомов. Неужто наши совсем плохи?

Гурчин. Не то чтобы очень, а так...

Сомов. Крошатся, а?

Гурчин. Крошатся, Иван Кузьмич, очень крошатся.

Сомов. Ну, ладно. Посмотрим сначала, а там, может, и мы переменим.

Гурчин. Да, Иван Кузьмич. Надо сначала посмотреть, а там можно будет и переменить.

Сомов. Ты сейчас на мельницу?

Гурчин. Куда прикажете, и на мельницу могу...

Сомов. Ну, так ступай.

Гурчин. На мельницу прикажете?

Сомов. Да, да... Надо сказать мпрошнику Карпу, чтобы он у меня был осторожнее.

Гурчин. Он честный старик, Иван Кузьмич, одиннадцатый год служит.

Сомов. Знаю, что служит... Но ты ему скажи, что так нельзя... от места откажут.

Гурчин. За что, Иван Кузьмич?

Сомов. За то самое... барыня жалится... она не любит, чтобы того... так ты ему и скажи...

Гурчин. Слушаю-с.

Сомов. И всем скажи, чтоб уважали, а то не я буду виноват, если откажут...

Гурчин. Карп сказывал, что ему нельзя было отлучаться, когда барыня приказывали наловить рыбы, — занят был. А ведь вы сами не любите, чтобы люди бросали дело.

Сомов. Знаю, что не люблю... да нельзя... не те времена... В законе сказано: жена да боится мужа, потому он глава, а на деле выходит... Что ж ты стоишь? Ступай.

Гурчин. Слушаю-с. (*Уходит.*)

Явление II

Сомов (*один*). Да, плохо. Где немец затеет что, там добра не жди для нашего брата. Не увязнуть бы... А тут еще расходы по домашности... На образованной задумал жениться... ради дочки... учится, думаю, так чтобы было кому присмотреть. И въехал... женился... Она и пошла командовать по-своему. И то не так и это — все хочет, как у господ. Одна эта гармоника (*показывает на рояль*) восемьсот целковых стала. А шляпы, бурнусы и прочая дрянь... тьфу. И жаловаться не смей, — сам виноват. Бросился в омут головой и отхлебывайся, как знаешь. (*Зовет.*) Дуня! Дуняшка!..

Явление III

Сомов и Дуня входит с тетрадью.

Дуня. Что, папа?

Сомов. Дай-ка мне воды.

Дуня наливает из графина стакан и подает.

А мама где?

Дуня. Не знаю... В саду, должно быть.

Сомов. Кой черт, в саду! Нет ее в саду. Она, говорят, поехала... Зачем она поехала? Куда? А?

Дуня. Ах, папа, я почему знаю.

Сомов. А почему бы не знать? Ведь ты — дочь, ты должна знать, куда мать отлучается.

Дуня. Она мне не говорит об этом, а я считаю лишним спрашивать...

Сомов. Что?!

Дуня. Говорю, не знаю. (*Хочет уходить.*)

Сомов. Постой. Убери стакан-то. (*Пьет.*)

Дуня ставит стакан на место и уходит.

Явление IV

Сомов (*один*). Черт!.. Кто же должен знать! Люди не знают, она не знает, а я и вовсе не знаю. Ровно в чаду каком... ничего не могу сообразить... где я? что я? Ничего не понимаю. Знаю только, что я женат на барыне — это знаю, а где эта самая барыня изволит разгуливать по целым дням, об этом не могли спрашивать. Да, не могли! Это дело не твое, значит, и не спрашивай. Болван! Поддался, а теперь и выкрутиться не могу... Дуняшка!

Явление V

Сомов и Дуня.

Дуня. Что, папа?

Сомов. Не знаешь ли, где моя сигарница?

Дуня. Она здесь, должно быть, на столе... Вот...
(*Подает и уходит.*)

Явление VI

Сомов (*один*). Курить приучила. Говорит, к тебе идет. Кой черт идет, когда каждая такая сосулька (*вынимает сигару*) чуть не четвертак стоит. А какой от нее прок? Говорят: соси, ну и будем сосать... Дуняшка!

Явление VII

Сомов и Дуня.

Дуня. Ах, папа, ты мне с учеником не даешь заниматься... Что тебе?

Сомов. Успеешь еще. Дело неважное. Ты дай отцу закурить, а потом и занимайся сколько хочешь. Спичку дай.

Дуня. Они вот около тебя.

Сомов. Ну что ж, что около меня?! Зажги, дай! Отец-то, чай, ближе тебе, чем ученик.

Дуня (*зажигает*). Обязанности должны быть также дороги...

Сомов. Что?

Дуня. Я говорю, что мне некогда. Надо с ним позаниматься, а потом бежать к другому.

Сомов. Что ж, ты меня этим упрекнуть задумала, что ли? Ведь твоя воля, я даже запрещаю тебе бегать.

Дуня. Я это очень хорошо знаю.

Сомов. А знаешь, так и сиди дома. Ни в чем тебе недостачи нет — и сиди!

Дуня. Не могу, папа.

Сомов. Вздор. Тебя никто не заставляет. Есть беднее тебя, да не бегают по урокам, — значит, и тебе можно, ты у меня не хуже других.

Дуня. Вот потому и не могу. Я должна работать, должна приносить какую-нибудь пользу.

Сомов. Ну, понесла опять свое. Должна, должна!..

Дуня. Не свое, папа, а общечеловеческое, христианское. Пока мы живы, должны работать, должны приносить посильную пользу; без этого ни одно существо не имеет права на жизнь...

Сомов. Ну, ну, ладно, ступай!.. Приноси свою пользу, я не буду тебе мешать...

Дуня (*целует его*). А за это мерси. (*Уходит.*)

Явление VIII

Сомов (*один*). Черт знает, — их не поймешь. Учились, кажется, в одной школе, а думают и говорят разное. Жена доедает тем, что надо вести себя как над-

лежит людям со средствами: чинно, благородно, ни до чего не касаться, а только приказывать... А дочь поет совсем другое: всякий человек, говорит, должен работать, а иначе не могли жить. Вот и понимай как знаешь... Тьфу! Ошалеть можно...

Явление IX

Сомов, Марья Павловна, Надя Воробьева
и Сидор с картонками.

Марья Павловна. Ну вот и мы. (*Сидору.*)
Клади вот сюда. (*Мужу.*) Ну, Ванечка, я привезла тебе такой подарок, какого ты и во сне не видывал. (*Целует.*)

Воробьева. Да, да, Иван Кузьмич, вы должны боготворить такую жену, — она за вами так ухаживает...

Сомов (*здороваясь с Воробьевой*). Отчего бы не ухаживать, — на то жена.

Воробьева. Не говорите, Иван Кузьмич, не всякая жена станет так ухаживать за мужем.

Сомов. Признаться, и не всякому мужу под стать такое ухаживание супружницы. Того и гляди, попадешь шутом в балаган...

Воробьева. Полноте! Вы такой красавчик, вам бы городским головою быть.

Сомов. Вот то я и говорю: не вынесу я этого самого шутовства.

Марья Павловна (*топнув ногой*). Ванечка! Не смей говорить глупости.

Сомов. Ну, ну, не буду. Покажи подарок-то.

Марья Павловна (*подставляя щеку*). А ты поцелуй сначала... Ну!

Сомов. При барышне-то?

Воробьева. Не стесняйтесь — я очень люблю.

Сомов. Напрасно. От этого вам один только соблазн... Пользы никакой.

Марья Павловна (*держит щеку*). Ты скоро?

Сомов. Лучше, мамочка, после, с глазу на глаз.

Марья Павловна. Не хочу после, сейчас. (*Подставляет.*) Ну!

Воробьева. Целуйте, целуйте, Иван Кузьмич, — я посмотрю, как вы целуетесь.

Сомов. Обноковенно как, — мудреного ничего нет. (*Целует.*)

Марья Павловна. Сильней.

Сомов. И сильней можно. (*Целует.*)

Воробьева. Браво, браво, Иван Кузьмич, вы очень хорошо целуетесь.

Сомов. Говорю, мудреного ничего нет.

Марья Павловна. Теперь и подарок можно показать.

Сомов. Ну, ну, зеркала, должно быть, на нос... с веревочкой.

Марья Павловна. Вот ты смеешься, а я тебе в следующий раз непременно куплю золотое пенсне.

Сомов. Утоплюсь.

Марья Павловна. Вот увидишь, если не куплю.

Сомов. Помпосердствуй, матушка, они у меня и держаться-то не будут. Нос-то у меня какой... картошкой!

Воробьева. Напротив, у вас прекрасный нос — классический. Вам пенсне очень пойдут.

Марья Павловна. Да он разве понимает что-нибудь... Никакого вкуса... Но ничего, я его вышколаю понемногу... У, косолапый!

Воробьева. Так его, Манечка, так, хорошенькѡ. Я бы на твоём месте и бороду ему обрила. Оставила бы только вот тут испанью елочку.

Сомов. Попросту, кошачий хвост... Ха-ха-ха! Покорно благодарю.

Марья Павловна (*вынимает из коробки цилиндр*). Ну-ка, муженек, примерь.

Сомов. Господи, цилиндра. Опомнись, матушка, ведь это только жулики носят. Честному христианину не подобает...

Марья Павловна. Ты надень, надень...

Сомов. Не надену я этой каланчп, хоть убей, не надену.

Марья Павловна. А я говорю, что наденешь. Мы должны поздравить папу с днем рождения.

Сомов. Ну что ж... И поздравим.

Марья Павловна. Без приличного костюма я не позволю к нему ехать. Я не хочу срамиться. У него будут его сослуживцы. Осудят, осмеют... Примерь, говорю.

Сомов. Ни примерять, ни надевать я эту дрянь не хочу и не буду. Надень его вон на Сидора... Сидор, ха-ха-ха!

Сидор появляется в дверях.

Марья Павловна (*Сидору*). Прочь на свое место.

Сидор скрывается.

Манечка, голубчик, не заставляй себя просить. Ведь это необходимо. Понимаешь ты — не-об-хо-ди-мо.

Сомов. Не понимаю, ничего не понимаю.

Марья Павловна. Ах, какой бестолковый. Понимаешь — на тебя в обществе станут смотреть иначе.

Сомов. Вот потому и не надену, что мальчишки будут бегать вслед, в участок заберут... Нет, господь с нею — не падо.

Марья Павловна. Милый, дуся, Ванечка... Дорогой.

Сомов. И не приставай лучше, все одно не надену.

Марья Павловна *(бросает шляпу)*. Гадкий!.. Противный, тиран! *(Плачет.)*

Сомов. И ладно, ругайся... *(Отворачивается.)*

Воробьева. Полпоте, Иван Кузьмич. Разве можно так обижать жену? Она для вас хлопочет, старается, любит вас так сильно... а вы?! Бог знает, как деспотически обращаетесь с нею. *(Поднимает шляпу.)* Возьмите, Иван Кузьмич. Право, нехорошо. Стыдно быть таким упрямым... Наденьте. Ведь от этого вас не убудет. К вам он очень пойдет. И солидности больше, п уваженья, Иван Кузьмич!

Сомов. Черт, говорю, не приставайте.

Марья Павловна *(рыдает)*. А я-то воображала, что он меня любит. Пошла за изверга, погубила свою молодость.

Воробьева. Иван Кузьмич!.. Это нп на что не похоже. Докажите, что вы ее любите. Сделайте это для нее.

Марья Павловна истерически рыдает.

Иван Кузьмич, опомнитесь... Так ее жизни на год не хватит... Манечка, милая, успокойся... Он погорячился... Он любит тебя... Стыдитесь, Иван Кузьмич! *(Протягивает ему шляпу.)* Успокойте свою жену.

Сомов. Тьфу, давайте. *(Хватает и надевает шляпу.)* Ну, красиво?.. Да?..

Воробьева. Ах, как чудесно. Манечка, Манечка! Полюбуйся, какой красавчик. Подойдите поближе, Иван Кузьмич... Чудесно!

Сомов (*подбоченясь*). На... смотри... ха-ха! Чего ж плакать-то?

Воробьева. Мило, очень мило... Попросите прощенья, целуйте ручку.

Сомов. Что ж... и ручку можно поцеловать, и по-французски можно заговорить... прудон, мадам, прудон. Теперь все можно-с... Пожалуйте ручку-с... Прудон-с. (*Целует.*) Ха-ха!

Воробьева. Браво, браво, совсем джентльмен.

Сомов. А, ну вас! (*Снимает шляпу, надевает картуз и уходит.*)

Явление X

Марья Павловна и Воробьева.

Марья Павловна. Вот так всегда. Ни за что ничего не сделает, пока не заставит поплакать. Измучил меня вконец. Показаться никуда не могу с ним. Если б не отец, бросила бы его и бежала без оглядки... и зачем только он выдал меня за этого пентюха...

Воробьева. Нет, Маня, что ни говори, я тебе очень завидую.

Марья Павловна. Есть чему! Жить в одной берлоге с медведем...

Воробьева. Медведь, да богатый и к тому же смиренный.

Марья Павловна. Положим.

Воробьева. Конечно, были бы деньги, а красавчика всегда можно найти.

Марья Павловна (*зажимает ей рот*). Тсс... Профессорша идет.

Явление XI

Те же, Дуня и Володя проходят через сцену к средней двери.

Дуня. Задачки непременно сделай, они не трудные... Ну, прощай, мой милый! (*Целует его.*)

Володя уходит.

Воробьева. Подумаешь... Какпе нежности.

Дуня. Ах, Надя, а ты здесь... Здравствуй... Иначе не могу... Я очень люблю своих учеников.

Воробьева. Охота. Они столько портят крови, раздражают. Я вон с братишкой не могу заниматься. Только начнем, смотришь и передрались: я его за уши, а он кусаться, царапать... Маме приходится разнимать.

Марья Павловна. И я терпеть не могу. Все мальчишки такие баловные, непослушные.

Дуня. Мои — нет, я ими очень довольна.

Воробьева. Значит, ты умеешь с ними.

Дуня. Уменья особенного не нужно. Их надо только любить.

Воробьева. Покорно благодарю. Истреплешь свое сердце на глупую любовь к детишкам, а потом, когда надо будет полюбить кого-нибудь по-настоящему, то смотришь — и нечем.

Марья Павловна. А это верно.

Дуня. Совсем нет, мама. Кто не любит детей, тот не может любить никого.

Воробьева. Конечно, я не люблю такого... как Лаптев, например... Грязный, оборванный.

Дуня. Бедность — не порок.

Воробьева. А по-моему — порок.

Марья Павловна. Не собираешься ли ты выйти за него замуж?

Дуня. К сожалению, нет.

Марья Павловна. Что же вам мешает?

Дуня. Моя неопытность, неумение трудиться.

Воробьева. Нищих не хотят плодить.

Дуня. Да, правда. Не хочу сидеть на шее мужа. Надо сначала поработать над собой, приучить себя к труду.

Марья Павловна. Что же ты собираешься делать?

Воробьева. Полы мыть, белье стирать...

Дуня. Да, если придется, то и это надо уметь...

Марья Павловна. Мило, очень мило! На что же тогда твое воспитанье, восемь классов гимназии?

Дуня. На то, мама, чтобы правильно понимать цель существования человека.

Марья Павловна. Правильно!.. Значит, цель существования в стирке полов и белья.

Дуня. И в этом, мама, да, во всем, что не противно чести. Если мы не подготовлены к более серьезному труду, то даже добросовестная стирка белья дает нам право на жизнь. Мы не должны бояться труда. Напротив, должны всячески избегать безделья, которое сделало женщин несчастнейшими существами в мире. Через него мы потеряли понятие о чести... Мы не стыдимся всю жизнь сидеть на чужой шее. Не гнушаемся служить в лучшую пору нашей жизни приятным развлечением для наших мужей, а то даже и для целой сотни безнравственных кутил, — разницы никакой. Как то, так и другое гадко, пошло. Как то, так и другое имеет в основе позорное безделье.

Воробьева. Bravo, bravo! Ты, Дуня, настоящая актриса, — умеешь говорить с таким жаром. Недавно Горская в какой-то драме тоже так говорила... Стала вот так... платье у ней атласное... вот здесь огромный

бант... вытянула этак руку... повела глазами и как начала... Публика ее девять раз вызывала.

Дуня. За атласное платье, должно быть, за бант. *(Хочет уходить.)*

Марья Павловна. Ты не вздумай уходить куда-нибудь. Сейчас надо ехать к папе.

Дуня. Зачем?

Марья Павловна. Забыла? Надо, кажется, поздравить его с днем рождения.

Дуня. Да, да, правда... Но мне прежде надо побывать на уроке.

Марья Павловна. Урок подождет. Невелика важность раз пропустить.

Дуня. Нет, мама, я не могу.

Марья Павловна. А я говорю, что можешь. Кажется, я жена твоего отца... мать.

Дуня. Ах, боже мой!

Марья Павловна. Нечего ломаться... Возьми вот это в свою комнату... там есть кое-что новое для твоего туалета... надень все.

Дуня. Я, мама, ничего не просила покупать, у меня все есть, что нужно.

Марья Павловна. Это уж позвольте мне знать, что вам нужно: я мать.

Дуня. Но это не дает нам право расточать трудовые гроши отца...

Марья Павловна. Что? Расточать?! Да как ты смеешь? Я его законная жена и не имею права платья себе заказать? Должна отрепанной ходить...

Дуня. Я о вас не говорю, вы, может быть, и пошли-то за него ради этого.

Марья Павловна. А ты как думала? Да-с, сударыня, вы не ошиблись. Я дворянка, и если и попала к вам, то только благодаря...

Дуня. Ради бога, мама, не говорите так.

Марья Павловна. Нет, я скажу, при всех скажу, и отцу твоему скажу, как ты меня попрекаешь его деньгами. Ты думаешь, побоюсь? Мужичка!

Дуня плачет.

Да я плевать хочу на вас и на ваши деньги. Уйду к маме, и тогда живите как знаете. Не расточайте трудовые гроши отца... Подумаешь, какая нерасточительная!

Явление XII

Те же и Сомов.

Сомов. Что такое? Что опять случилось?

Марья Павловна. Вон спроси свою возлюбленную дочь. Попрекать начала твоими деньгами, расточительницей зовет. Из дому гонит... женой твоей не признает... *(Плачет.)*

Сомов. Что?! Дуняшка!.. Шалить начинаешь? Смотри, девка, не моги! Она тебе мать, слышишь — мать! Ты это заруби себе на носу.

Марья Павловна. Я ее прошу одеваться... говорю — время ехать к отцу, а она не может, видите ли, на урок ей надо... да еще учить вздумала, дерзости говорит.

Сомов. Смотри, голубушка, кажется, я сам начну тебя учить. Не посмотрю, что ты десять лет в гимназию бегала. Мало, видно, чему научилась. Надо еще самому, по-свойски. Ну, отчаливай и одевайся во что велят... Живо!

Дуня сидит.

Кому говорю? Хочешь, чтобы за косы... *(Порывается.)*

Воробьева *(удерживает)*. Иван Кузьмич!

Дуня (*направляется к дверям*).

Марья Павловна. Надя! Отнеси, пожалуйста, к ней.

Сомов. Зачем? Она сама... Не велика птица... Стой!

Дуня останавливается.

Забирай вот это. (*Кладет ей на руки картонки.*) Вот так-то будет лучше... Ну, гайда.

Дуня идет.

Стой! Вот еще коробка.

Марья Павловна. Это от твоей шляпы.

Сомов (*швыряет коробку*). Черт. И коробка-то заморская. (*Вслед дочери.*) А уроков чтоб ты у меня больше никаких не имела. Я тебе свои буду давать. Слышишь?.. Так-то будет лучше.

Марья Павловна. Ну, Ванечка, теперь и тебе время одеваться.

Сомов (*почесывает затылок*). Э-эх... Была ни была! (*Берет шляпу и уходит.*)

Явление XIII

Марья Павловна и Воробьева.

Воробьева. Нет, он душка, просто душка твой Иван Кузьмич.

Марья Павловна. Помплуй, Надя, с такой девчонкой иначе ничего и не поделаешь.

Голос Сидора: «Позвольте, господин, туда не ходите.
Я сейчас доложу».

Марья Павловна. Сидор! Кто там такой?

Сидор (*входит*). Барышню спрашивает тот самый господин, да вот, что ходит к ним в шляпе.

Воробьева. Ах, Манечка, это, должно быть, Лаптев.

Сидор. Так точно, Лаптев. Так я прошу их обождать.

Марья Павловна. Зачем, пусть войдет.

Сидор. Он без калош, а на дворе грязно-с.

Марья Павловна. Да, да, правда... сегодня только мыли полы.

Воробьева. Ах, Манечка, ничего, пусть войдет — это очень интересно... Зови его, Сидор.

Марья Павловна. Только ты попроси, чтобы он ноги вытер хорошенько.

Сидор. Слушаюсь. *(Хочет уходить.)*

Марья Павловна. Постой, дай нам усесться. Мы его встретим, как настоящие аристократы.

Воробьева. А в самом деле, это очень интересно... Я буду сидеть вот здесь, вот так... Ха-ха-ха!

Марья Павловна. Чудесно! А я вот так... Нет, вот так... Хорошо?

Воробьева. Восхитительно! Ха-ха!

Марья Павловна. Тс-с. *(Сидору.)* Зови!

Сидор уходит.

Пауза.

Сидор *(за сценой)*. Позвольте-с... Так нельзя... Потрудитесь обтереть ноги.

Лаптев. Пошел вон, невежа. *(Входит.)*

Явление XIV

Те же и Лаптев.

Марья Павловна *(вскакивает)*. Нет-с. Вы невежа. В порядочный дом в грязных сапогах не вваливаются.

Лаптев. Виноват. Постараюсь больше никогда не переступить через этот порог. Простите. Вот эту книгу, будьте так любезны, передайте Евдокии Ивановне... А меня простите, простите великодушно... Простите. *(Кладет книгу на стол и уходит.)*

Явление XV

Марья Павловна и Воробьева.

Воробьева. Ха-ха-ха! Какой он смешной. *(Копирует.)* Простите, простите... Ха-ха-ха!

Марья Павловна *(в двери)*. Сидор! Посмотри за ним, а то он еще стянет что-нибудь... Мужик! Нищий, а тоже с амбицией. «Постараюсь больше никогда...» Бродяга! Даже злость берет.

Воробьева. Охота злиться. Вот мы лучше посмотрим, какую он книгу принес нашей профессорше. *(Берет книгу.)* Ой-ой-ой, целый пуд... Мудреная, должно быть. *(Читает.)* «Герберт Спенсер. Основание биологии». Хоть убей, ничего не понимаю. Основания какой-то би-ологии. Ты не знаешь, что значит биология?..

Марья Павловна. Биология... это... Ну, как тебе сказать? Это все равно что диалогия, геология, социология... Словом, наука о бунтовщиках.

Воробьева. Ай-ай-ай! *(Бросает книгу на стол.)* И вы ей позволяете читать такие книги?

Марья Павловна. Ничего, милая, не можем поделать. Ты ей одно, а она тебе десять... Видела сегодня? На курсы просится. Говорю мужу: отпусти! Не хочет. Проку, говорит, не вижу от ее ученья... И приходится терпеть.

Явление XVI

Т с же и Ду н я в шляпе.

Воробьева. Ах, какая прелесть!

Марья Павловна. Ну, вот и мило и хорошо... это я люблю. Умница! (*Целует ее.*)

Воробьева. Какое перо, какой очаровательный бант! Как идет к тебе!

Марья Павловна. Однако и мне надо привести себя в порядок... Я в одну минуту.

Воробьева. Кстати, мне пора... Засиделась...

Марья Павловна. Пустяки, мы тебя подвезем.

Воробьева. Ни-ни-ни! Ни за что!.. Не люблю ездить. Прощайте... (*Целует Марью Павловну.*) До свиданья, душечка. (*Дуне.*) До свиданья.

Ду н я (*холодно*). До свиданья!

Воробьева. Удостоите хоть пожатия руки. Не хотите? (*Напыщенно.*) Великое значение высокого назначения прогрессивных начал на арене великой общечеловеческой культуры и цивилизации... Ха-ха-ха! Дальше забыла... Прощайте! (*Убегает.*)

Марья Павловна. Ха-ха! Стрекоза. Вот тебе пример, Дуняшечка, — веселая, добрая, послушная и за это всеми любимая. (*Уходит.*)

Явление XVII

Ду н я (*одна*). «Пример». Как тут с ума не сойти, когда самые близкие люди указывают тебе на эту бессодержательную куклу, как на пример, которому надлежит следовать, мало того, требуют подражать ему... Что они со мной делают? Неужели Лаптев прав? «Лучше, говорит, быть горничной, прачкой, чем

дышать этой зараженной атмосферой». Зачем я такая несчастная? Нет, об этом надо хорошенько подумать. *(Видит книгу, которую принес Лаптев.)* А эта книга как сюда попала? Сидор, Сидор!

Явление XVIII

Д у н я п С и д о р входит.

С и д о р. Что прикажете?

Д у н я. Кто принес эту книгу?

С и д о р. Господин Калошин.

Д у н я. Какой Калошин?

С и д о р. Тьфу. Не Калошин, а тот, что в шляпе.

Д у н я. Лаптев?

С и д о р. Да-с, Лаптев. Просили вам передать.

Д у н я. Он сам принес?

С и д о р. Сами-с.

Д у н я. Почему он не зашел?

С и д о р. Не схотели-с... Сапоги были грязны... а ба-рыня приказали их пообчистить.

Д у н я. Как пообчистить?

С и д о р. Известно как, тряпочкой, чтобы, значит, полы не пачкать.

Д у н я. Попросту сказать, выгнали, да?

С и д о р. Гнать никто не гнал, сами ушли-с.

Д у н я. Ступай, больше ничего не надо.

Явление XIX

Д у н я *(одна)*. Выгнали... И до него добрались. Единственный человек, с кем можно было побеседовать, и его выгнали... Спасибо, спасибо вам. *(Плачет.)*

Нет, придется, видно, последовать его совету... Господи, прости мне, но я не могу иначе, не могу придумать ничего лучшего. Бежать! Но как? Куда? Лаптев советует в Петербург... Надо поговорить с ним обстоятельно... Боже, подкрепи меня... Научи, я сама ничего не понимаю...

Явление XX

Дуня, Сомов и Марья Павловна.

Сомов. Готовы... Ну, господа благослови. Идемте.
(*Берет Марью Павловну под руку.*) Сидор!

Сидор входит. Сомов делает ему знак,
по которому тот растворяет обе половины двери;
по второму знаку выходит Дуня,
за ней следуют супруги.

Сидор (*проводит их глазами*). Барин, одно слово — барин.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ 2-е

Комната в квартире Суйковых.

Явление I

При поднятии занавеса на сцене нет никого. Раздается звонок. Суйков выбегает слева, жена его — справа. Он — в халате, в очках, с трубкой на длинном чубуке и тетрадью пот. Она — в чепце и фартуке, с засученными рукавами. Видят друг друга и останавливаются.

Евдокия Ивановна (*с нежным упреком*).
Андрей Михайлович!

Суйков. Дуняшечка.

Евдокия Ивановна. К лицу ли вам двери отворяют? Может быть, женщина пришла наняться...

Суйков. А... да, да... легко, может быть... правда. Иди же, иди сама.

Звонок.

Какой нетерпеливый... иди же. Иди...

Евдокия Ивановна уходит в средние двери.

Явление II

Суйков (*один*). Чистое наказание быть без прислуги. Бедная Дуняшечка совсем заработалась. На рынок ходит сама, готовит сама, комнаты убирает сама,

посуду чистит сама, массажи мне делает сама... все сама. Даже сердится, когда хочешь помочь ей, — такой характер!

Явление III

Суйков и Евдокия Ивановна.

Суйков (*идет ей навстречу*). Ну что, душечка?

Евдокия Ивановна молча махнула рукой.

Суйков. Жилец?

Евдокия Ивановна. А кто же?.. Лохматый...

Суйков. Художник?

Евдокия Ивановна. Художник! Какой он художник?! Проходимец какой-то, а не художник. Не признаю я таких художников, которые в срок денег не платят.

Суйков. Нет, душечка, ты так не говори. Деньги — это материя, а для искусства нужен талант.

Евдокия Ивановна. Вы меня никак не хотите понять, Андрей Михайлович. На что мне его талант, когда он мне за квартиру не платит. У тебя все таланты: Мазиллов — талант, Перышкин — талант, Трубадулов — талант... Один только Светлов не талант, должно быть потому, что он аккуратнее всех.

Суйков. Ах, Дуняшечка, что ты говоришь? Прежде всего я сам артист и могу отличать артистов.

Евдокия Ивановна. Этого мало, Андрей Михайлович. Надо отличать не одних артистов, но и жуликов между настоящими артистами.

Суйков. Дудуся, Дудуся! Что ты говоришь, подумай, что ты говоришь!

Евдокия Ивановна. Что знаю, то и говорю, Андрей Михайлович.

С у й к о в. Нет, ты сегодня расстроена, право, расстроена... Нервы не в порядке.

В передней звонок.

Евдокия Ивановна. А не в порядке, так извольте сами отворять.

С у й к о в *(с упрёком)*. Дудуся!

Евдокия Ивановна. Вот вам и Дудуся. Извольте отворять.

С у й к о в. К лицу ли мне, подумай сама.

Евдокия Ивановна. К лицу, к лицу, — вам это очень идет. Я тоже не наемная. У меня тоже душа: отдохнуть и мне надо. Сил не хватает... измучилась вконец. Умереть не дадут спокойно...

Звонок.

С у й к о в. Иду, иду. *(Уходит в средние двери.)*

Явление IV

Евдокия Ивановна и Петр входит справа.

Евдокия Ивановна. Что тебе?

Петр. Пришла какая-то мамзель наниматься.

Евдокия Ивановна. Где она?

Петр. На кухне дожидается.

Оба уходят направо.

Явление V

С у й к о в и П е р ы ш к и н входят из средних дверей.

С у й к о в. Некогда, некогда, господин Перышкин.

Перышкин. Да вы послушайте только вот это явление.

С у й к о в. Знаю, очень хорошо знаю: вы прекрасно

пишете; но мне теперь некогда; Мазиллов рисует мой портрет; он сейчас придет. Приказал быть готовым. Я вас буду слушать вечером, а теперь не мешайте, — право, некогда. *(Хочет уходить.)*

Перышкин. Ну, хоть вот этот монолог.

Суйков. Ну, ладно, читайте! Только скорей. *(Во время чтения уходит налево.)*

Перышкин *(читает)*. «Она... это прелестное создание, этот благоухающий цветок... Как она отуманила мою голову?! Каждое ее слово, улыбка, взгляд... Нет, я до сих пор не могу верить, чтобы в таком небесном образе скрывалось исчадие ада, чтобы в такой божественной улыбке змеилось смертоносное жало ядовитой гадюки, чтобы этот взор, как озеро отражавший сияние луны, мерцание звезд и трели соловья, чтобы этот взор, как факел маяка манивший усталого мореходца в туманную ночь; чтобы этот взор, горевший таким восхитительным огнем, был так полон коварства, лжи и ледяного бессердечия... О, женщины, женщины! Бессодержательность ваше имя!» У Шекспира сказано «ничтожество» — так чтобы не подумали, что я ему подражаю... Ну, как?.. Ушел?! Профан! Старый шут! Невежа! *(Идет и в средних дверях сталкивается с Мазилловым.)* Пардон! *(Уходит.)*

Явление VI

Мазиллов *(со всеми принадлежностями живописи)*. Тю. Осторожней... Певец пернатый!.. Чуть муштабель не сломал... *(То насвистывает, то напевает какую-то мелодию, расставляет мольберт, ставит на него подрамник. Придвигает к ним стул, кладет палитру, кисти, муштабель. Ставит посреди сцены круглый столик и накрывает его красным лоскутком.)*

Мазил ов (зовет). Андрей Михайлович!

Суй ков (за сценой). Кто там?

Мазил ов. Пора начинать.

Суй ков. Ах, это вы, мусье Мазил ов.

Мазил ов. Он самый. Все готово, остановка за вами...

Суй ков. Виноват, голубчик, виноват... Сию минуту... Накину только верхнее.

Мазил ов. Свет сегодня очаровательный.

Суй ков. Неужели?

Мазил ов. Дивный. Не надо только медлить.

Суй ков. Да, да... Я сию секундочку. Ах, черт возьми, какой скандал!..

Мазил ов. Что случилось?

Суй ков. Шнурок оборвался.

Мазил ов. Выходите сюда. Я вам помогу.

Явление VII

Мазил ов и Суй ков в красном плаще, широкой шляпе с пером, в цветных чулках и туфлях.

Суй ков. Вот видите, голубчик. Надо как-нибудь закрепить.

Мазил ов. О, это пустяки, позвольте... вот так... вот... вот и все! Становитесь на место, помните позу?

Суй ков. Еще бы. (*Становится у круглого столика.*)
Левая ступня — здесь; правая — здесь; левая рука — так; правая — так; глаза — туда.

Мазил ов. Голову выше. (*Любуется драматической позой Суйкова.*) Прекрасно. Так. Очаровательно... Стоять смирно! (*Берет палитру.*) Сосредоточиться на фразе: «Не подходи, преступница!»

Суйков (*делает энергичный жест и поет*). «Не подходи, преступница!»

Мазиллов. Восхитительно! Начинаю. (*Пишет.*)

Суйков (*после паузы, несмело*). Мусье Мазиллов!.. Мусье Мазиллов!..

Мазиллов (*с упреком*). Андрей Михайлович!

Суйков. Виноват, голубчик, заложпло... Не могу дышать... Позвольте прочистить.

Мазиллов. Ах, да сморкайтесь, только поскорей, — свет может измениться.

Суйков. В одну секундочку. (*Приводит себя в порядок.*) Готово.

Мазиллов. Экспрессия не та.

Суйков (*поет*). «Не подходи, преступница!»

Мазиллов. Не то.

Суйков (*с большой энергией*). «Не подходи, преступница!»

Мазиллов. Хорошо. Продолжаю.

Большая пауза.

Явление VIII

Те же, Евдокия Ивановна и Дуня Сомова, входят справа и видят только Суйкова, который ни на одну линию не изменяет позы.

Евдокия Ивановна. Батюшки!

Дуня (*тихо*). Что это значит?

Евдокия Ивановна. Андрей Михайлович! Андрей Михайлович! Андрюшечка... Голубчик... Андрюшечка... Цыпочка... (*Хочет дотронуться до него.*)

Суйков (*не изменяя позы, поет*). «Не подходи, преступница!»

Евдокия Ивановна (*вскакивает*). Батюшки! Он с ума сошел... (*Несмело.*) Андрюшечка! Папочка!..

Что с тобой? Ты меня не узнаешь? Ведь это я, твоя Дудуся... Ты присмотришь хорошенько... Узнаешь, милочка? Узнаешь, да? *(Приближается.)*

С у й к о в *(так же)*. «Не подходи, преступница!»

Евдокия Ивановна. Господи! Да что же это с ним приключилось? Милый мой! Ненаглядный мой! А я думала, что мы до старости проживем благополучно... Батюшки мои! Какая же я несчастная! Кто успокоит мою старость?... Кто похоронит мое грешное тело? *(Плачет.)*

Д у н я *(тихо)*. Куда это я попала?

Евдокия Ивановна *(рыдает)*. Пропала моя головушка, пропала.

С у й к о в *(быстро изменяет позу)*. Нет, это черт знает что такое! Всю душу вымотала... Разве можно при таких условиях позировать?.. Извините, господин Мазиллов, право не могу, в другой раз...

М а з и л о в *(сердито кладет палитру)*. Какое варварство! Бросать на самом интересном месте.

Евдокия Ивановна. Так вот оно что?! Ах ты, маляр нечесаный. *(С сжатыми кулаками бросается на Мазилова.)* Шутки шутить, маскарады заводить.

С у й к о в. Опомнись, Дудуся, здесь постороннее лицо.

Евдокия Ивановна *(мужу)*. Прочь, безобразник!

М а з и л о в. Успокойтесь, дорогая Евдокия Ивановна. Безобразного ничего нет: я по просьбе вашего мужа пишу его портрет.

С у й к о в. Правда, Дудуся, ей-ей, я сам просил... Он был так добр.

Евдокия Ивановна. Ступайте и переоденьтесь сию минуту, бесстыдник.

С у й к о в. Дудуся...

Евдокия Ивановна. Без возражений.

С у й к о в. Иду, иду... (*Уходит налево.*)

Явление IX

Евдокия Иваповна, Мазиллов и Дуня.

М а з и л о в (*поглощенный созерцанием Дуни*). Недурна, черт возьми, колоритна.

Евдокия Ивановна. Ну-с! А вы что же? (*Мазиллов не слышит.*) Послушайте, эй!

М а з и л о в. Виноват, что вы сказали?

Евдокия Ивановна. Забирайте свою хурду-мурду и отчаливайте к себе.

М а з и л о в. Что-о-с? Какая такая хурда-мурда?

Евдокия Ивановна (*указывая на принадлежности живописи*). Кажется, очень понятно. Потрудитесь... (*Указывает на дверь.*)

М а з и л о в. Во-первых, это не хурда и не мурда; во-вторых, они здесь никому не мешают, а в-третьих, я панимал квартиру с прислугой, которая, если это так необходимо, и отнесет их в мою мастерскую. (*Дуне.*) Пожалуйста, милая, потрудись.

Евдокия Ивановна. Во-первых, мой муж для вас не позировщик. Во-вторых, вы за квартиру не платите, а в-третьих, не имеете права командовать девушкой, которая к нам еще не поступила.

М а з и л о в. Как? Неужели?! Виноват, ради бога, простите... Я думал... Извини, моя красавица, что я так преждевременно... Не сердись... Поступай к нам... У нас хорошо... Никто тебя не обидит... Народ все добрый... Не правда ли, Евдокия Ивановна? (*Хочет взять за руку.*)

Евдокия Ивановна. Отстаньте, пожалуйста.

Мазиллов. Что-о-с? «Отстаньте!» Я — артист, прошу у вас извинения, а вы — «отстаньте»! Я, художник Мазиллов, ласкаюсь к вам, как ребенок, а вы — «отстаньте»?! О, жепщины, женщины... Вы боитесь потерять каких-нибудь десять — пятнадцать рублей и оскорбляете благородное чувство артиста. Так знайте же, я вам их найду. Да-с, Авдотья Ивановна, найду и швырну к вашим ногам, как лоскутки негодной бумаги.

В дверях показывается Суйков в халате.

А потом — прощайте! Прощайте!.. Я вам больше не квартирант... (*Большими шагами уходит в средние двери.*)

Суйков. Ушел... Ой, ушел! Господин Мазиллов! Господин Мазиллов! (*Бежит за ним.*)

Явление X

Евдокия Ивановна и Дуня.

Евдокия Ивановна. Ну, милая, если тебя не пугают проделки этих школяров, то поступай. Обязанности свои ты слышала: жалованья шесть рублей, на праздниках подарок...

За сценой звонок.

Должно быть, Светлов с урока, — пойти впустить... Подумай хорошенько. (*Уходит.*)

Явление XI

Дуня (*одна*). «Подумай хорошенько...» Чего тут думать? Убежала из дому... Деньги вышли... Просить у отца немислимо... Написала ему, чтобы он не беспо-

коился, что я занимаюсь уроками, хожу на курсы... Вот тебе и курсы! Хорошо, что запаслась мещанским паспортом, а то не знала бы, что делать. Ну что ж, попробуем пожить горничной. Авось как-нибудь перезимуем, а там что бог даст...

Явление XII

Дуня, Евдокия Ивановна и Светлов входят.

Светлов. Вы только извиняйте, Евдокия Ивановна, что немного просрочил.

Евдокия Ивановна. Что вы, Николай Васильич... Грех вам говорить... Прошу садиться.

Светлов (*достает деньги*). Благодарю вас. Вот вам за прошлый месяц, а вот за будущий.

Евдокия Ивановна. Что вы, что вы, я никогда вперед не беру.

Светлов. Нет, вы возьмите, — пригодятся... Вам больше нужны, — возьмите. Что за церемонии, возьмите, Евдокия Ивановна.

Евдокия Ивановна. Право, неловко... (*Считает.*) Николай Васильич, да тут десять рублей лишних.

Светлов. И это я скажу — на что, я получил место в гимназии княгини Долгинской.

Евдокия Ивановна. Голубчик, Николай Васильич! Как же я рада!

Светлов. Вот видите, и я рад, а всякую радость надо вспрыснуть, чтоб веселей было радоваться.

Евдокия Ивановна. Милый мой! Извини, что я так, просто...

Светлов. Напротив, я очень рад; я сам полюбил вас, как родную мать. Вот мы и отпразднуем нашу

радость. Пригласим всех артистов... Напитки я уже взял, а вот что до закусок, так уж это вы, — вы лучше понимаете...

Евдокия Ивановна. Господи! Такая неожиданность! Андрей Михайлович не нарадуется. Пойти рассказать, — он у Мазилова... Нет, вы сидите! Я сама, сама... (*Уходит.*)

Явление XIII

Светлов и Дуня долго молчат, украдкой осматривают друг друга.

Светлов (*тихо*). Какая симпатичная.

Пауза.

Хотите поступить?

Дуня. Да-с.

Светлов (*тихо*). И голос приятный.

Пауза.

Сговорились?

Дуня. Почти что.

Светлов. Первый раз?

Дуня. Первый-с.

Светлов. Как зовут?

Дуня. Дуняшка.

Светлов. Авдотья, значит... Так... Разве вы умеете работать?

Дуня. Умею.

Светлов. И вам будет не трудно?

Дуня. Работать никогда не трудно.

Светлов. Не думаю, — вы на вид такая... как изнеженная барышня.

Дуня. Такая родилась.

Светлов. Вот потому-то и говорю, что будет трудно. Вы грамотная?

Дуня. Да-с.

Светлов. Учились где?

Дуня. В мещанской школе, а потом в городской.

Светлов. Вы мещанка?

Дуня. Да-с.

Светлов. Сирота?

Дуня. Отец жив, есть и мачеха.

Светлов. Злая? Ха-ха! Конечно, иначе зачем было бросать отца! Разве отец так беден?

Дуня. Я приехала, чтоб своим трудом...

Светлов. Ха-ха! Ну, дай бог, дай бог! Это очень похвально. У нас вам будет не скучно.

Явление XIV

Те же, Суйков, Евдокия Ивановна, Мазиллов и Перышкин.

Евдокия Ивановна. Вот он, извольте поздравить его.

Суйков (*с распростертыми объятиями*). Голубчик, Ни́колушка. (*Целует.*) Поздравляю, от души поздравляю. (*Целует.*)

Светлов. Благодарю, чувствительно благодарю...

Мазиллов (*томно*). Сосед, поздравляю. (*Жмет руку.*)

Перышкин (*с достоинством*). Сосед, поздравляю. (*Жмет руку.*)

Светлов. Благодарю, от души благодарю.

Евдокия Ивановна. Ну, нечего канитель тянуть. Выдвигайте стол, устанавливайте сервиз, а я с Дунышкой сбегаю купить закусок.

Суйков (*суетится*). Прекрасно, прекрасно...

Светлов. Позвольте, Евдокия Ивановна, вы, кажется, еще не вполне покончили с нею...

Евдокия Ивановна. И то правда, — забыла на радостях. Вот и суди о нас, моя милая, — теперь мы почти все налицо... Согласна ты?

Дуня. Согласна.

Суйков. Восхитительно!

Мазиллов. Чудесно!

Перышкин. Бесподобно!

Светлов (*смотрит на Дуню*). Как она хороша, необыкновенно хороша!..

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ 3-е

Кухня в квартире Суйковых.

Явление I

Дуня Сомова и Петр сидят за столом. Петр читает, а Дуня поправляет его ошибки.

Петр. «И за-за-пряг — запряг»...

Дуня. Надо говорить «запрег».

Петр. Запрег... «он сво-свою ло-лоша-ло-шад-ку... лошадочку».

Дуня. Не «лошадочку», а «лошадку».

Петр. Эх, Дуня! Ведь это все равно, что лошадошка, что лошадка. Суть-то, знамо, в том, что жена так заставила поехать старика... А злая, видно, баба была... Так, кажись, и задушил бы ее.

Дуня. Ты читай, читай...

Петр. Чего читать... Право, Дуняха, теперь про злых и читать-то не хочется.

Дуня. Что так?

Петр. А господь его знает... Растолковать себе не могу... Мне бы теперь про самых добрых да ласковых людей читать надо... Сердце к ним лежит, и поучиться от них хочется добру-то ихнему.

Дуня. И здесь есть добрые люди. Разве старик не добрый?

Петр. Оно так... Да все же он старик, а старику и бог велел быть добрым. А вот если бы про девку, да, примерно, она к парню-то добра бы была и ласкала бы его... А он бы, значит, перед ней всю душу развернул и обнял бы ее, а она не то чтобы рассерчать, а сама бы его поцеловала... и пошли бы они под венец и зажили бы вдвоем, как голубки... Он бы работал, да так бы работал, чтобы ни в чем недостачи не было... А она бы жила барыней и только бы любила своего мужа... И как бы хорошо было... Как хорошо!

Дуня. Да, недурно... И такую книжку можно будет достать...

Петр. Не достанешь ты, Дуняша, не достанешь такой книжки, где бы все это в точности было написано, как оно взаправду бывает; не достанешь... Нельзя написать на бумаге, что накипает на душе, как сердце на части рвется от этой самой, значит, любви... Э! Да что и толковать!.. В душу-то чужую, чай, трудно заглянуть. *(Опускает голову.)*

Дуня. Что с тобой, Петя? Ты сегодня какой-то особенный.

Петр. Не сегодня, Дуняшка, а вот почитаю целый месяц хожу, как отуманенный. Голова не своя стала... Душа изболела... Работать не могу... В доме на меня как на помешанного глядеть стали... Со мной говорят, а я ничего не слышу... Отказать могут. Так бы, кажись, вышел на Неву, да с моста, самого Литейного, — в воду.

Дуня. Что ты, что ты? Господь с тобой, Петя! Грешно так думать. Ты парень молодой... Тебе только жить да поживать...

Петр. Легко сказать — жить да поживать! А когда божий свет кажется тебе немилым и самого себя пужаться начинаешь, что тогда?

Д у н я. Отчего же все это, отчего?

П е т р. А вот от того самого... Прощай!

Д у н я. Прощай, но только будь паинька, не думай так, брось, право, будет лучше.

П е т р. Эх, девка, легко тебе говорить. А вот я так думаю по-другому. Пойду-ка я сейчас в трактир да там под музыку, значит, графинчик... другой... вот и не стану думать, — не так ли?

Д у н я. Тогда и не показывайся ко мне, и учить не стану.

П е т р. И ладно, глупее будем, а это нашему брату одно спасенье. Прощай. (*Хочет уходить.*)

Д у н я. Петя!

П е т р. Ну?

Д у н я. Не ходи ты, милый, в трактир, не ходи... я тебя прошу. Если хоть чуточку любишь меня — не ходи.

П е т р. «Чуточку»! Не чуточку, а во как... (*Хочет обнять.*)

Д у н я (*отступает*). Что ты, что ты!..

П е т р. Эх, Дуняша!.. Прощай. (*Быстро уходит.*)

Явление II

Д у н я (*одна*). Вот тебе и грамота. Этак парня загубить можно... Влюбился... Что мне теперь с ним делать? Чудак! И жаль его, и самой неловко пред ним. Как это глупо, — получила кой-какое образование и уже ничего не имею общего с народом... Вот и здесь: два месяца каких-нибудь, а уж надоело. Не будь Светлова, бежала бы. Какой он славный... Так бы и сидела около него... Ха-ха-ха!.. Горничная влюбилась

в своего барина... Роман... Нет, падо бежать, а то, чего доброго, хандрить начнешь и, как Петр, о Неве замечаешь... Ну их!.. Не надо!.. (*Видит входящего Светлова.*) Ах, это он!..

Явление III

Дуня и Светлов входит и торопливо ищет что-то.

Светлов (*тихо*). Черт знает, объяснить не могу, что со мной делается, когда ее вижу... То в жар, то в холод бросает...

Дуня. Что вы ищете?

Светлов (*не смотрит на нее*). Я... сапоги... надо их... Вы не знаете, где сапожные щетки?

Дуня. Вам щетки? Они вот...

Светлов. А... благодарю вас. (*Хочет взять у нее.*)

Дуня. Позвольте, я вам почищу...

Светлов. Нет, что вы?! Благодарю вас... я сам. (*Хочет взять.*)

Дуня. Мне удобней... Вы поставьте ногу на табуретку — я мигом...

Светлов. Нет, позвольте... Я не люблю... позвольте.

Дуня. Вы руки запачкаете.

Светлов. Так что же? Помою.

Дуня. Право, мне удобнее.

Светлов. Ни-ни-пи! Ни за что. Я сам. Позвольте. (*Берет щетки.*) Разве можно? Я еще не настолько стар. (*Чистит.*) К тому же вы дама, а я — кавалер... Неудобно... Неприлично совсем... Вот видите, как я живо... Другой и лаком так не покроет... Ну, вот... один есть. Явлюсь в гимназию — все ученицы заглядятся на мои сапоги.

Дуня. Как бы на вас самих не загляделись.

Светлов. О нет... Не думаю...

Дуня. Отчего?

Светлов. Так... мало интересного во мне... медведь, вахлак... а такие девицам не по вкусу... не любят.

Дуня. Не скажите... Сердце девичье своеправно...

Светлов. Полюбит и медведя? Ха-ха!

Дуня. И полюбит.

Светлов. Ну, вот и другой готов. (*Хочет уходить.*)

Дуня. Вы уходите?

Светлов. А что?

Дуня. Так... В гимназию пойдете?

Светлов. Да, в гимназию.

Дуня. А далеко эта гимназия?

Светлов. Далеко... На Знаменской.

Дуня. Пешком пойдете?

Светлов. Да, пешком. (*Хочет уходить.*)

Дуня. У вас там много учениц?

Светлов (*возвращается*). Учениц... Да, много.

Дуня. Счастливые они...

Светлов. Чем?

Дуня. Так... Учатся себе...

Светлов. Ведь и вы учились.

Дуня. Я что?.. Я мало училась.

Светлов. Хотели бы еще?

Дуня. Кто же не хочет?.. Учиться всякий хочет.

Светлов. Угодно, — я вас буду учить?

Дуня. Как можно... Вы и так устаете.

Светлов. Это ничего. Мы будем заниматься по вечерам, когда я свободен и у вас меньше возни. Вам еще не надоела эта возня? Чай, бежать готовы, да?

Дуня. Нельзя сказать. Каждый день только все одно и то же.

Светлов. Да, не занимательно. А жильцы, артисты наши... пристают, поди? Вы их гоните без церемонии. Это народ такой... Нечего с ними деликатничать.

Дуня. Как можно? Они господа, а наше дело простецкое.

Светлов. Так что же?

Дуня. Господам нельзя грубостей говорить.

Светлов. А господам все можно делать, да?

Дуня. Должно, коли так водится.

Светлов. Вы, Авдотья, пожалуйста, не смотрите на то, как водится. На это есть свои законы: кто не умеет быть вежливым, тот дает полное право обращаться с ним так же грубо. Нужды нет, что они господа. И в чем это их господство? В безнаказанном оскорблении слабой, незащищенной девушки, да? Нет, Авдотья, истинно благородный человек не должен себе позволить этого. Я давно слежу за ними... и пусть они не воображают, что с вами можно делать все потому только, что вы горничная.

Дуня плачет.

Ну, вот, видите, какой я медведь... Хотел ободрить... утешить... а вы в слезы... Услужил!.. Согнал, значит, муху, перестаньте. Право, я себе никогда не прощу этого... Довольно, Авдотья. Вы сделаете то, что больше не скажу с вами ни одного слова. Дуня! Дуняша!

Дуня. Я не плачу... идите... а то опоздаете в гимназию.

Светлов. Не плачете? А посмотрите мне в глаза... посмотрите-ка... посмотрите...

Дуня (*прячет лицо*). Право, опоздаете.

Светлов. Вы и будете виноваты... Посмотрите мне в глаза — и пойду... Дуня... Ну... Сюда... вот так... (от-

нимает ее руки от лица) а... плутовка... вон, вон еще одна слеза катится... Ха-ха-ха!

Дуня. Оставьте... я не плачу...

Светлов. Ну, так и быть. Теперь оставляю. Прощайте.

Дуня (*не смотрит*). Прощайте.

Светлов. Разве так прощаются? Вы улыбнитесь, протяните мне руку и скажите ласково: до свиданья, мол, Николушка.

Дуня. Я так не могу.

Светлов. Отчего?

Дуня. Не смею... Вы барин, а я...

Светлов. А вы горничная... да? Ха-ха-ха! Горничная. Правда, правда... Прощайте, а то действительно опоздаю, получу выговор от ее сиятельства. Барин! (*Уходит.*)

Явление IV

Дуня (*одна*). Неужели он обиделся?.. Умно, нечего сказать: «Барин»! Нет! Довольно ломать комедию. Я ему открою все... Быть может, он оценит мое чувство... Господи, зачем я с ним встретилась? Не знала его — не думала о нем... а теперь?!. Ничего не понимаю... (*Задумалась.*) Ха-ха-ха! К Неве потянуло... умереть.

Явление V

Дуня и Перышкин боязливо заглядывают из дверей и, когда видит, что Дуня одна, входит смело.

Перышкин. Дунетта, ты одна?

Дуня. Нет, теперь нас четверо: вы, да я, да нас двое.

Перышкин. Шутница ты, моя шаловливая муза, право, шутница.

Дуня. Когда вы перестанете называть меня такими мудренными именами?.. Какая я вам муза? Я — Авдотья, а не муза... выдумали — «муза»!

Перышкин. Очаровательно! Это детское непонимание способно вдохновить бездушное бревно, пень, не то что истинного поэта, — очаровательно!

Дуня. Ничего тут очаровательного нет. Говорю, как понимаю.

Перышкин. Это и хорошо. Больше этого и понимать не следует.

Дуня. Ой ли? Сами-то, чай, больше понимаете.

Перышкин. Ну, да, конечно. Но ты этого не желай, моя очаровательница. Это и счастье и несчастье наше. Мы, артисты, художники и в особенности поэты, призваны учить темный люд, проповедовать ему с высоты Парнаса великие общечеловеческие принципы. Мы для этого запасаемся самоотвержением, берем жало мудрых змей и глаголом жжем сердца людей. Это наш долг, это наше счастье. Но вот и наше несчастье: грубое и невежественное человечество гонит нас из города в город, проклинает, побивает камнями, бичует, подвергает колесованию, сожигает на костре.

Дуня. А вы все оживаете?

Перышкин. Наивно, но очень метко. Да, моя цыпочка, мы именно оживаем. Дух, живущий в нас, не умирает никогда: переходит из поколения в поколение, развивается, крепнет и создает такие имена, как Шиллер, Байрон, Гете, Пушкин, Лермонтов...

Дуня. Ничего-то я не понимаю. Вы уж об этом духе с кем-нибудь другим потолкуйте-с. А наше дело комнаты убирать и господам сапоги чистить, вот наше дело.

Перышкин. Нет, ты призвана быть музой, моя восхитительница.

Дуня. Какая там муза! Говорю — горничная, а вы все — муза да муза. Я даже не понимаю.

Перышкин. А вот слушай, я тебе объясню. Муза... Муза... Это, понимаешь ли ты — это мифическое божество, женщина или девушка, незримо витающая около поэта, вдохновляющая, поющая ему поэтические песни.

Дуня. Постойте, постойте! Разве я когда-либо пела вам какие-либо песни?

Перышкин. Конечно, конечно, Дуняшечка, каждую ночь я только тебя и слушаю.

Дуня. Господь с вами — я сплю всегда очень спокойно, никогда не пою.

Перышкин. Не ты, а образ твой.

Дуня. Ха-ха-ха! Вы, барин, кажется, нездоровы.

Перышкин. Здоров я, моя упоительная муза, здоров... Но ты так наивна, что не можешь понять меня... Но тем лучше, тем выше моя награда. Я мало-помалу растолкую тебе.

Дуня. Нет, уж вы лучше кому-нибудь другому толкуйте, а я все равно не пойму.

Перышкин. Муза! Что ты говоришь? Разве тебе не хочется быть образованной, умной?

Дуня. Коли все будут умны, то и сапог некому будет чистить.

Перышкин. Нет, муза, ты сегодня особенно грустно настроена.

Дуня. Что делать, хлопот много, жалованье небольшое, а жильцы скупые — ни от кого полтинника не дождешься.

Перышкин. Муза! Какой материализм! Фи! Разве стихи, которые я тебе посвящаю, не выше, не дороже полтинника?

Дуня. Песни-то! Ха-ха-ха! А что за них дадут? Небось, если бы за такие прибаутки платили деньги, вы бы не сидели без сахара.

Перышкин. Фи! Какая мелочность! «Сахар»! Что такое сахар? Сахар пустое. Я не для сахара пишу. «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Наша награда — любовь! Дунетта! Неужели ты никогда не любила?

Дуня. Как не любила? Отца, мать всегда любила.

Перышкин. Не-ет, не то... а молодца какого-нибудь... молодого, красивого...

Дуня. А где его взять, такого красавчика?

Перышкин. Ну, не красавчика, так все же молодого, умного.

Дуня. Нет и такого.

Перышкин. А ты осмотрись, а? Осмотрись-ка хорошенько, может и есть, а?.. Дуняшечка... а?

Дуня. Ха-ха-ха! Не вы ли?

Перышкин. А что?.. Разве я не того? Разве меня нельзя любить?

Дуня. Не к лицу вам, барин. Ведь замуж все равно не возьмете.

Перышкин. Какая проза — замуж. Зачем замуж? Ведь так лучше, поэтичнее, а? Право. Полюби-ка, а? Уж как я тебя ласкать буду... Ведь ты у меня одна, моя очаровательная музочка... *(Хочет обнять.)*

Дуня *(обрывает смех)*. Барин! Говорить-то я вам запретить не могу, но рукам воли не давайте.

Перышкин. Что ты, Дуняшечка?.. Ты сердисься?.. Ведь я пошутил, право пошутил... Я больше

не буду... ей-ей. Вот послушай, — я тебе свои стихи прочитаю... Все для тебя пишу... Слушай. (*Читает.*)

Люблю я страстно твои глазки,
Твой нос и алые уста.
Безумно жажду твоей ласки,
Любовь моя, как кристалл, чиста...
И ты чиста, в том нет сомненья,
И ты добра — то знаю я,
И ты мила — мое то мнение...

Явление VI

Те же и Мазиллов во время чтения показывается в дверях.

Мазиллов (*доканчивает стих*). Но ты цветешь не для меня... Ха-ха-ха!

Перышкин (*тихо*). Проклятый маляр.

Мазиллов. Странное дело, сосед, вы, кажется, все свое вдохновение почерпаете на кухне, как ни придишь — вы тут как тут?

Перышкин. Ничего нет странного, я хожу сюда по делу.

Мазиллов. Полноте, разве я не знаю, по какому делу?.. Дуняшке стихи читаете, пленить хотите девушку, — плохая политика. Она ведь вас не поймет.

Перышкин. Я, право, удивляюсь, мусье Мазиллов, вы человек образованный, а позволяете себе думать бог знает что.

Мазиллов. Ладно! Знаем мы вас, пернатых певцов. Чай, музой зовете девушку, на Парнас приглашаете, а? Не так ли, Дунька, — он еще не называл тебя музой?

Дуня. Они меня по-другому и не зовут. Все муза да муза.

М а з и л о в. Ха-ха-ха!

П е р ы ш к и н. Ничего нет смешного, и я просил бы вас быть осторожней.

М а з и л о в. Ха-ха-ха! Ну, какая она вам муза? Опомнитесь, баян вы сладкострунный. Она, поди, даже и не понимает этого слова. Не так ли, Дуняшка? Знаешь ты, что это за птица муза? Ха-ха-ха.

П е р ы ш к и н. Глупо, очень глупо. Дуня, поставь самовар.

М а з и л о в. Что?! Самовар?! Ха-ха-ха!

П е р ы ш к и н. Ну да... самовар.

М а з и л о в. Полно, дорогой сосед. Ведь у вас *(поет)*... «Нет ни сахара, ни чаю...»

П е р ы ш к и н. Не беспокойтесь, у вас не попрошу.

М а з и л о в. Увы, если бы и попросили, так я все равно не мог бы с вами поделиться, так как я даже забыл, какого они цвета. А знаете, что я вам скажу? Бросьте свою поэтическую спесь, перестаньте сердиться, дайте мне вашу руку в знак неизменной дружбы, и я вас посвящу в предприятие, которое через два дня обогатит нас, как братьев Нобель... Ну!

П е р ы ш к и н. Сомневаюсь.

М а з и л о в. Я ставлю голову.

П е р ы ш к и н. Говорите, говорите...

М а з и л о в. Нет, вы дайте руку, что готовы помочь.

П е р ы ш к и н. Извольте! Чем могу... *(Дает руку.)*

М а з и л о в. Прекрасно! Теперь слушайте. У вас, я знаю, есть поношенные брюки...

П е р ы ш к и н. Это совсем не остро! Поношенные! Какое вам дело, что поношенные?!

Мазиллов. Пойдите. Вы не скипидарьтесь. Выслушайте до конца. Вот эти самые брюки возьмите и продайте татарину.

Перышкин. Говорю, не остро!

Мазиллов. Я и не думаю острить!

Перышкин. К чему же эти глупые шутки?.. Я еще не дошел до того, чтобы продавать свои брюки.

Мазиллов. Ах, любезный сосед, вы меня совсем не хотите понять. Это нужно для нашего предприятия. Вы только слушайте. Продадим брюки, получим деньги, найдем натурщицу и сварганим картину...

Перышкин. Мне-то что? Натурщица нужна вам — вы и продавайте свои брюки.

Мазиллов. У меня их нет... Понимаете, у меня — одни-единственные и то, смотрите. (*Слегка поднимает фалду.*) Ну? Надо, значит, ваши брюки... Я напишу этюд, отнесу его к Доциаро, к Авансо или к какому-нибудь другому до-ля-со и получу денежки, понимаете, денежки? Половина — вам.

Перышкин. Вот что?! Ха-ха-ха!.. Bravo! Гениальнейшая мысль! Руку, товарищ!

Мазиллов. А натурщица у нас есть, какую поискать во всем Петербурге. Дуняша, наверное, согласится за полтинник в час.

Перышкин. И то правда.

Мазиллов. Выручай, брат Дуняша. Я с тебя такую «минуту неги» отваяю, что любой барышник даст радужную.

Перышкин. Милая Дуняшечка, музочка моя, согласись за полтинник.

Дуня. Что такое? В толк не возьму.

Перышкин. Худого ничего. Ей-ей, ничего. Посидишь часик-другой у Мазилова на кровати, распустишь волосы, закинешь этак одну руку, а другую как-

нибудь иначе... будешь смотреть томно, томно, — ну, словом, в потолок или на отдушник.

Мазил ов. Объяснил! Ничего этого не надо.

Дуня. И я так думаю, барин, что ничего этого не надо.

Мазил ов. Нет, Дуняша, ты выслушай меня. Ты будешь сидеть как есть.

Дуня. И не говорите, барин, я — ни за что.

Мазил ов. Глупая! Ты подумай только. Ну, что в этом дурного?

Перышкин. Конечно, Дуняшечка. Ну, что в этом дурного? Да что с нею толковать? — она согласится. Разве моя муза может нам отказать в этом? Она у меня такая добрая.

Голос татарина за сценой: «Халат, халат!»

Перышкин. А вот, кстати, и князь, — чувствует гололобый поживу. (*Зовет в окно.*) Эй, халат! Комен зп гер! Князь! Сюда, сюда! Идет, рад, басурманская душа, ухмыляется... Ну, вы потолкуйте еще, а я ему товар приготовлю. (*Быстро идет и в дверях сталкивается с Евдокией Ивановной.*) Пардон, Евдокия Ивановна. (*Уходит.*)

Явление VII

Дуня, Мазил ов и Евдокия Ивановна.

Евдокия Ивановна (*вслед Перышкину*). Комедьянт! (*Видит Мазилова.*) А... художник. Здравствуйте! Как здоровье?

Мазил ов. Мерсп.

Евдокия Ивановна. Как дела?

Мазил ов. Плохи-с... Дуня, самовар.

Евдокия Ивановна. Извините, господин художник, ей некогда, она пойдет со мной в участок. Надо попросить полицию очистить мою квартиру от некоторых господ.

Мазиллов (*тихо*). Ладно, знаем мы эту полицию. (*Дуне.*) Как только закипит — неси!

Евдокия Ивановна (*Дуне*). Чего ж ты стоишь? Одевайся.

Мазиллов. Если через четверть часа он у меня не будет на столе, я завтра же схожу с квартиры.

Евдокия Ивановна. Что-что? (*Загораживает ему дорогу.*) Нет-с, постойте! Вы так не уйдете... Вы должны расплатиться, милостивый государь, господин художник...

Мазиллов. Позвольте! (*Уходит.*)

Явление VIII

Евдокия Ивановна и Дуня.

Евдокия Ивановна. Да что же это такое?! (*Вслед.*) Да как ты смеешь, нестриженная грива? Кто тебе позволил? И это жильцы?! Это халдеи какие-то, а не жильцы.

Явление IX

Те же и казанский татарин с узлом.

Евдокия Ивановна. Ты еще зачем?

Татарин. Здравсти, барина. (*Снимает узел и шапку, на голове остается ермолка.*)

Евдокия Ивановна. Зачем ты пришел, спрашиваю? Кто тебя звал? (*Дуне.*) Ты, что ли?

Дуня. Никак нет, барыня.

Татарин. Уф, пят иташ... очень умарил...

Евдокия Ивановна. Какой черт велел тебе подыматься на пятый этаж? Кому ты нужен?..

Татарин. Ну, харашо, харашо, барушка-сударушка. Неси, что есть, палто-малто, хабур-чабур.

Евдокия Ивановна. Убирайся вон, тебе говорят. У меня отродясь никто ничего не продавал татарину... Для старья есть благотворительные общества... Убирайся!

Татарин. Что такое — убирайся!.. Меня позвал пят иташ. Разва можно... Бог нет... что ли?

Евдокия Ивановна. Ну, ну, довольно, чохмох не знаю, а вот тебе порог, и гайда подобру-поздорову.

Татарин. Идом, идом, небос... копо-оглы. (*Уходит.*)

Явление X

Евдокия Ивановна, Дуня и Перышкин.

Евдокия Ивановна. Ишь татарская лопатка, еще огрызается... «Оглы, оглы». Шут гололобый.

Перышкин (*вбегает с брюками*). Где же он? Ушел. Ах, Евдокия Ивановна... (*Прячет брюки за спину.*)

Евдокия Ивановна. А-а. Так это вы призывали татарина?

Перышкин. Я?.. Что-с? Какого татарина?

Евдокия Ивановна. Вы, вы! Я знаю, что вы.

Перышкин. Виноват... Пardon-с... Я не понимаю-с.

Евдокия Ивановна. Кого же вы ищете? Ну, кого?

Перышкин. Я-с? Никого... Я к Дуняшке... Дуня, самовар.

Евдокия Ивановна. М-м... п вам самовар?

Перышкин. Необходимо. Пишешь, пишешь... Голова, грудь, спина... Трудно, очень трудно...

Евдокия Ивановна. Бедненький.

Перышкин. Что делать, Евдокия Ивановна? Труд — наше призвание, наш крест...

Евдокия Ивановна. Конечно, конечно... Так вам самовар?.. Сейчас, господин Перышкин, сию минуточку...

Перышкин. Мерси-с.

Евдокия Ивановна. Нет, это выше сил моих. Какой такой самовар, позвольте вас спросить?

Перышкин. Самовар... Ну, да, самовар...

Евдокия Ивановна. А деньги?

Перышкин. Деньги?.. Как деньги?

Евдокия Ивановна. И он еще спрашивает? Да что вы с ума посходили! Русского языка не знаете... В жулики записались? В гроб меня хотите вогнать. Грабить хотите, удушить, зарезать. (*Наступает.*)

Перышкин (*пятился к дверям*). Пардон... нет... виноват... пардон... (*Убегает.*)

Явление XI

Евдокия Ивановна и Дуня.

Евдокия Ивановна. Нет, это невозможно. Этак с ума можно сойти...

За сценой слышны отрывочные звуки корнета. Дуня хохочет.

А ты чего скалишься? Местом не дорожишь? Кому я говорю?.. И ты с ними заодно: шутки шутить задумали со мной.

Дуня. Право, барыня, я...

Корнет; Дуня хохочет.

Евдокия Ивановна. Да как ты смеешь, противная девчонка. (*Наступает.*) Над кем ты смеешься? Говори, над кем?

Дуня. Не над вами, барыня, ей-богу.

Евдокия Ивановна. Над кем же, ну, говори! Над кем?

Звуки корнета. .

Дуня. Вон, слышите?

Евдокия Ивановна. Ну так что же?

Дуня. Ну, вот он... зовет.

Евдокия Ивановна. Кто зовет? Кого зовет?

Дуня. Все он же, трубач, зовет меня.

Евдокия Ивановна. Откуда ты выдумала, что он тебя зовет? Он у себя в комнате трубит, а ты говоришь зовет.

Дуня. Зовет, барыня, право, зовет.

Корнет.

Слышите, слышите? «Ту-ту, ту-ту, ту-ту». Это значит — Ду-ня, и-ди сю-да.

Евдокия Ивановна. Что ты врешь?

Дуня. Ей-богу, барыня, значит, — я не вру.

Евдокия Ивановна. Господи! Полковые сигналы завели. Батальонное ученье!.. Содом и Гоморра!

Корнет у самых дверей.

Батюшки! Идет... Сюда идет. (*Отходит в угол и закрывает уши.*)

Явление XII

Те же и Трубадуров не замечает Евдокию Ивановну, подходит к Дуне и извлекает шесть отрывочных звуков.

Трубадуров. Как это перевести?

Дуня смеется.

Евдокия Ивановна (*про себя*). Что же это такое?

Трубадуров (*Дуне*). Отвечай.

Дуня хохочет.

Забыла? Ну... (*Трубит.*)

Евдокия Ивановна (*про себя*). Милостивый боже! Чем я провинилась?

Трубадуров. Ту-ту, ту-ту, ту-ту!

Евдокия Ивановна (*про себя*). За что такое испытание?!

Трубадуров. «Дуня, по-ди сю-да». Ах, ты мой пикольчик. (*Хочет взять за подбородок.*)

Евдокия Ивановна (*громко*). Милостивый государь!

Трубадуров. Ах, Авдотья Ивановна! Добрый день.

Евдокия Ивановна. Вы нахал, милостивый государь.

Трубадуров. Фи, дорогая Евдокия Ивановна, такие выражения.

Евдокия Ивановна. Вам чего здесь нужно? Зачем вы пришли сюда?

Трубадуров. Успокойтесь, миа кариссима, успокойтесь. Вы женщина воспитанная — вам не идет. Будьте мелодичны. Музыка вашего голоса много вы-

играет от этого. Верьте мне — я знаток в этом деле.
(Дуне.) Евдоха, самовар.

Евдокия Ивановна. Что? И вам самовар?

Трубадуров. Нельзя, мна кариссима, нельзя. Вместо завтрака полезно выпить стаканчик-другой чайку... Не правда ли? Ха-ха.

Евдокия Ивановна. Полезно или нет, но вы самовара не получите...

Трубадуров. Ха-ха-ха! Вы сегодня очень забавны. Веселость к вам идет. При вашей комплекции это нечто вроде фантазии Шуберта... Право... (Дуне.) Ха-ха! Поторопись, моя очаровательная флейта. (Хочет взять за подбородок.)

Евдокия Ивановна. Милостивый государь!

Трубадуров. Что прикажете, мна кариссима?

Евдокия Ивановна. Вы забываете, что перед вами благородная дама.

Трубадуров. Ха-ха! А вы чудесная хозяйка! У вас живет как в раю. Я никогда не уйду.

Евдокия Ивановна. Что?

Трубадуров. Клянусь, вы мне очень нравитесь.

Евдокия Ивановна. Вы нахал, милостивый государь.

Трубадуров. Фп, Евдокия Ивановна. Это очень грубо, грубо, очень грубо.

Евдокия Ивановна. Не платите за квартиру, выживаете жильцов...

Трубадуров. Не беспокойтесь — они не уйдут...

Евдокия Ивановна. Тираните прислугу, оскорбляете благородную даму.

Трубадуров. Пардон, миль пардон! Я прошу извинения.

Евдокия Ивановна. Я вас не прощу.

Трубадуров. Это невеликодушно. (*Садится.*)

Евдокия Ивановна. Я вам докажу... Вы узнаете, с кем имеете дело... вы...

Трубадуров. Говорите, говорите, я вас слушаю. (*Трубит.*)

Евдокия Ивановна. У меня есть муж... Он объяснится с вами, а я стыжусь разговаривать с таким нахалом. (*Уходит.*)

Явление XIII

Трубадуров и Дуня.

Трубадуров. Ха-ха-ха! Давно бы так. Ну-с, мой пикольчик, отвечай, почему ты не пришла на мой сигнал, ну? Вот за что тебя надо наказать. (*Хочет обнять.*)

Дуня. Барин, будьте осторожней.

Трубадуров. Чего бояться? Она больше не придет.

Дуня. Не она, а я вам говорю.

Трубадуров. Ты? Ха-ха-ха! Ах ты, мой пикольчик. (*Хочет обнять.*)

Дуня. Я вас прошу не оскорблять меня.

Трубадуров. Что? Да ты серьезно?

Дуня. Времени нет с вами шутить, надоело.

Трубадуров. Ха-ха-ха! Так ты не шутишь, моя очаровательная флейта?

Дуня. Да, не шучу.

Трубадуров (*наклоняется к ней*). Не шутишь?

Дуня. Говорю, нет.

Трубадуров (*целует*). На же тебе за это! Ха-ха-ха!

Дуня. Негодяй, нахал! (*Плачет.*)

Трубадуров. Ругайся, теперь ругайся, сколько хочешь. Ха-ха-ха! Вот видишь, п я не шучу. Скажите пожалуйста. Обидели! Нюни распустила! Ну, девка! Другая бы на ее месте сама поцеловала меня, а она плакать вздумала. Глупенькая, право слово, глупенькая! Совсем ничего не понимает... (*Трогает за плечо.*) Эй, пикольчик. Будет тебе...

Дуня. Негодяй!

Трубадуров. Ха-ха-ха!

Голос Суйкова: «А где он, где? Подать мне его...
подать сейчас же...»

Трубадуров. Ого, оскорбленный супруг. Чего доброго, на дуэль вызовет. Нет, шалишь — я мигом укрошу тебя... (*Садится на табуретку и играет арию: «Не плачь дитя, не плачь напрасно.»*)

Голос Суйкова: «Подайте мне его, где он?»

Явление XIV

Те же и Суйков.

Суйков при звуках корнета останавливается у дверей, вдохновляется и начинает петь. Трубадуров продолжает играть. Суйков со сценическими жестами приближается к Дуне, поднимает над ней руки и с увлечением старается воспроизвести арию.

Явление XV

Те же, Евдокия Ивановна и Светлов в дверях.

Евдокия Ивановна. И это муж? Это защитник супружеской чести? (*Громко.*) Андрей Михайлович! Андрей Михайлович!

Суйков. А?! Дудуся...

Трубадуров. Ха-ха-ха! Вот вам и опера. За вход ничего не берем. Пожалуйста к нам в другой раз. (*Уходит.*)

Евдокия Ивановна (*мужу*). Колпак, колпак!

Суйков. Дудуся! Ты напрасно... Он...

Евдокия Ивановна. И слушать не хочу...
Туфля старая. (*Уходит.*)

Суйков (*идет за ней*). Право, Дудушечка... он просит извинения... клянется... больше не будет. (*Уходит.*)

Светлов (*приближается к Дуне*). Дуня!.. Вы плачете... О чем?

Дуня. Коля... Милый!.. (*Падает ему на грудь и рыдает.*)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ 4-е

Комната второго действия,

Явление I

Суйков читает ноты. Евдокия Ивановна пересматривает газетные объявления.

Суйков (*сначала мурлычет, потом увлекается и поет*). «Времен от вечной темноты...»

Евдокия Ивановна. Андрей Михайлович!

Суйков. Виноват, Дудуся, я совсем забыл, что ты здесь.

Оба углубляются в занятие.

Евдокия Ивановна. Вот опять (*читает*): «Молодая особа ищет место горничной или одной прислуги. Гончарная, дом тринадцать, квартира двадцать один». Как ты думаешь, не нанять ли ее?

Суйков не слышит.

Андрей Михайлович!

Суйков. А? Что ты хочешь, Дудуся?

Евдокия Ивановна. Я говорю: не нанять ли ее?

Суйков. Нанять, конечно, нанять... Отчего же не нанять... (*Углубляется.*)

Евдокия Ивановна. Или вот еще (*читает*): «Ищу место прислуги в небольшое семейство. Имею рекомепдацию. Пески, Седьмая улица, дом тридцать девять, квартира одиннадцать».

Суйков (*поет*). «Не буду говорить о нем».

Евдокия Ивановна. Андрей Михайлович! Это наконец невыносимо.

Суйков. Что, Дудуся? Что невыносимо?

Евдокия Ивановна. Я с тобой о деле хочу поговорить, а ты все мычишь и мычишь. Неужели не надоело? Ведь целый день, — с ума можно сойти.

Суйков. Ах, Дудуся, если тебе не нравится, то скажи... я совсем брошу заниматься, сожгу ноты... Я думал, что тебе приятно.

Евдокия Ивановна. Всему свое время, Андрей Михайлович. Мне теперь не до пенья. Надо прислугу нанять.

Суйков. А я разве говорю, что не надо? Конечно, надо. Без прислуги нам никак нельзя.

Евдокия Ивaновнa. Кого же выбрать из этих? Одна живет на Гончарной, другая — на Песках, третья — в Гавани, четвертая — в Измайловском полку, пятая — на Шестнадцатой линии, шестая — на Дворянской, седьмая — у Самсониевского моста.

Суйков. Возьми с Измайловского полка.

Евдокия Ивановна. Чтобы солдаты к ней ходили? Ни за что! Я знаю, как брать прислугу с Измайловского полка.

Суйков. Не хочешь, — возьми из Гавани.

Евдокия Ивановна. Как раз! Она, наверное, знакома с матросами... Пьяницы, скандалисты... На кухне кабак заведут.

Суйков. Тогда с Шестнадцатой линии.

Евдокия Ивановна. Воровку, значит, да? По-твоему, воровку нанять ничего, да?

Суйков. Ну так с Самсоньевского.

Евдокия Ивановна. И не говорите мне, Андрей Михайлович! Я чухонка видеть не могу. Ничего не умеют делать, дуры, не понимают по-русски.

Суйков. Почему ты знаешь, что она чухонка?

Евдокия Ивановна. Чухонка, непременно чухонка! Другая у Самсоньевского моста и жить не станет... Там все чухонки... И ты мне не говори... Я знаю это хорошо, очень хорошо.

Суйков. А если ты все так хорошо знаешь, то нечего меня и спрашивать.

Евдокия Ивановна. Как тебя не спрашивать? Ты муж, ты глава дома.

Суйков. В таком случае возьми с Гончарной.

Евдокия Ивановна. Это опять молодую? Чтобы в доме кавардак был, да? Чтобы опять сбежала? Покорно благодарю.

Суйков. Ах, Дудуша, ты, право, сама не понимаешь, чего ты хочешь.

Евдокия Ивановна. Я понимаю, Андрей Михайлович, очень хорошо понимаю, вы меня не проведете. Я ведь видела, все, все видела...

Суйков. Что ты видела? Ничего ты не видела.

Евдокия Ивановна. Не выводите меня на откровенность, Андрей Михайлович, ой, не выводите! Разве я не знаю, как вы все вертелись около Дуняшки?

Суйков. Как все? Кто же это все? И каким это родом вертелись-то около нее?..

Евдокия Ивановна. Говорю, не выводите на откровенность.

Суйков. Нет, ты продолжай, коли начала. Говори, когда я вертелся около Дуняшки, ну?

Евдокия Ивановна. Вертелся, Андрей Михайлович, вертелся; нечего греха таить. Ведь я не сержусь, я так только, к слову...

Суйков. Ну и вертелся. Пусть будет по-твоему. Что ж из того, что я вертелся? Ведь она не потому сбежала?

Евдокия Ивановна. Потому не потому, а выходит, что потому.

Суйков. Как же это выходит? Ну?

Евдокия Ивановна. А вот как. Когда она уходила, то господин Светлов мне передал по секрету, что она потому, говорит, бросает место, что не может переносить жильцов...

Суйков. Ну?!

Евдокия Ивановна. Вот тебе и ну!

Суйков. При чем же я тут?

Евдокия Ивановна. А при том, что и ты около нее вертелся.

Суйков. Наладила одно, — вертелся да вертелся! Ты мне покажи, что я вертелся, да докажи!

Евдокия Ивановна. Ничего я тебе доказывать не хочу и не буду. Ты сам знаешь, что ты в этом деле не без греха.

Суйков. А все-таки ты мне этого не докажешь.

Евдокия Ивановна. А все-таки ты старый ловелас...

Суйков. Ты мне, Дунечка, этого не говори. Ты ни в чем не можешь упрекнуть меня. Грех тебе говорить, право, грех.

Евдокия Ивановна. Нет-с, вам грех. Я тридцать первый год вам верная жена, а вы... стыдились бы оправдываться.

Суйков. Чего мне оправдываться. Говорю, не грешен и не грешен.

Евдокия Ивановна. А кто с Славской ужинал у Палкина? Не ты, а? Признавайся, не ты?

Суйков. С какой Славской? Когда?

Евдокия Ивановна. А помнишь, певица-то была, с тобой служила, потом в Тифлис перевелась...

Суйков. Ха-ха-ха! Ведь это ровно двадцать лет тому назад. Ну память!

Евдокия Ивановна. Смеяться-то нечего. Таких случаев я укажу тебе немало.

Суйков. Много, очень, но когда это было? Ха-ха!

Евдокия Ивановна. Бесстыдник! Никогда не дорожил супружеской верностью... Я, бывало, сижу одна... Не ложусь до утра... самовар держу наготове. Вот, думаю, бедный Андрюша из оперы вернется усталый, голодный... А Андрюша между тем — к Палкину, с кокеточкой... Сколько я мук перетерпела, сколько вынесла!.. И за что же, за что? *(Плачет.)*

Суйков. Какой вздор!.. Дудуша!.. Разве можно?.. Ну, я виноват... Ну, прости, виноват я, прости... Ведь в молодости все бесятся... Ну, и я согрешил... каюсь... Прости же, прости... Ведь я теперь ничего, веду себя скромно...

Евдокия Ивановна *(рыдает)*. Для чего я молодость погубила?!

Суйков. Дудуся, милая, дорогая... Ну, перестань... выпей водицы... на... говорю — виноват... ну, прости... ведь ты у меня такая добрая... Дудушечка.

Евдокия Ивановна *(продолжает рыдать)*. Скольким женихам отказала...

Суйков. Дудусенька!.. Да что ты со мной делаешь?.. Дорогая... Прости же, прости! Видишь, на коленях тебя прошу... *(Становится на колени.)* Прости, Дудусенька... *(Целует руку.)* Перестань, мое дитятко... Тебе вредно плакать... Голова заболит... Колени в жи-

воте начнутся... Ты бы прилегла, Дудуся... Пойдем, я тебя отведу в спальню... Пойдем, моя ласточка... Пойдем, моя ненаглядная... Разве так можно... *(Ведет ее.)* Ты женщина больная, слабая... Раздражаться тебе вредно... нужен покой...

Уходят.

Явление II

Иван Кузьмич Сомов, в цилиндре и пенсне,
Марья Павловна и Петр входят со стороны кухни.

Петр. Пожалуйте-с. Вот эта самая квартира и числится, значит, в домово́й книге за номером тридцать семь.

Марья Павловна. Фу!.. Просто задыхаюсь...

Сомов. Да, высоко. Под самую крышу забрались.

Петр. Никак нет-с, ваше степенство, под крышей у нас значатся квартиры седьмого этажа.

Марья Павловна. До сих пор не могу отдышаться... Бог знает куда завел... Лестница грязная... кухонный чад, вонь...

Петр. Это везде-с, сударыня. На то она черной и зовется. Я предлагал вам по чистой — сами не схотели-с.

Марья Павловна. В коридорах темно, — того гляди, лоб расшибешь... И здесь жить? Ни за что!

Петр. Ведь я вам сказал, что эта квартира занята — видите сами. А вот, пожалуйста, по другой лестнице есть свободная, я вам покажу-с... В пять комнат... Пожалуйста-с.

Сомов. Фу, какой бестолковый! Ну, куда ты просишь жаловать, когда я тебе сказал, что я никакой другой квартиры не хочу, кроме этой.

Петр. Да ведь занята, ваше-ство, — видите сами.

Сомов. Знаю, что занята.

Петр. И она не скоро опорожнится.

Сомов. Знаю и это.

Петр. Жильцы хорошие, аккуратные... Хозяин их очень любит...

Сомов. И пускай себе любит.

Петр. Он ни за что им не откажет...

Сомов. Черт!

Петр. За что же вы ругаетесь?

Сомов. Говорю, знаю, и не приставай.

Петр. Помилуйте, как не приставать?..

Сомов. А будешь приставать, обругаю еще.

Петр. Нас не за что. Мы люди подневольные. Приказано квартиры показывать, и говорю вам, что эта занята, а есть другая, свободная...

Сомов. Да ты уйдешь или нет?

Марья Павловна. Ваня! Разве так можно? Не сердись, любезный, мы не квартиру пришли нанять... Нам надо повидаться с Евдокией Ивановной... Мы ей родня.

Петр. Помилуйте-с, так бы и сказали...

Сомов. «Так бы и сказали». Чай, не ослеп еще, видишь, что не воры...

Петр. А кто знает, ваше высокородие, нынче не разберешь, особливо у нас в Питере... Прикажете доложить?

Марья Павловна. Да, да... Ведь она дома?

Петр. Дома-с, Евдокия Ивановна завсегда дома-с...

Марья Павловна. Так доложи, любезный... А вот тебе на чаек...

Петр. Покорнейше благодарю... Я сейчас...

Сомов. Стой. Будет спрашивать, не говори, что

родственники, а так, мол, какие-то господа... понимаешь?

Петр. Понимаю-с.

Сомов. Живо!

Петр уходит.

Явление III

Сомов и Марья Павловна.

Марья Павловна. Ты только ее не бей, Иван Кузьмич.

Сомов. А это мы посмотрим.

Марья Павловна. Нет, ты ее не бей... В столицах не принято.

Сомов. А черт мне в их столицах: я не тутошний и потому, значит, могу делать, что хочу.

Марья Павловна. Я тебе говорю — не принято. Притом же она девушка взрослая, да еще студентка.

Сомов. И до этого мне нет дела.

Марья Павловна. Да ты пойми, Иван Кузьмич, скандал-то какой, в газетах пропечатают... Ведь здесь не то что у нас, — здесь все в газетах печатают.

Сомов. И пусть их печатают.

Марья Павловна. Да ведь это скандал, — что скажут наши знакомые? Докторша все газеты читает — от нее не скроешь, — живо оповестит. Вот, дескать, поехали в Петербург глупые провинциалы, отыскиали свою дочь — курсистку и пачали ее для первой встречи за волосы таскать... Нет, воля твоя, но я после такого скандала и домой не покажусь...

Сомов. Никакого скандала я тут не вижу. Она дочь моя, и могу, значит, с нею делать, что хочу. Пусть не бегает.

Марья Павловна. Мы сами виноваты. Не пу-

скали, когда просилась, ну и убежала. Учиться очень любит...

Сомов. Не пускал потому, что проку не вижу от их ученья. А деньги тратить зря не хочу и не буду.

Марья Павловна. Она и не просила денег и теперь пишет, что она занимается уроками, что ей хватает, чтобы мы не беспокоились...

Сомов. «Не беспокоились»! Чай, я отец? Как же мне не беспокоиться о родной дочери? Если бы не беспокоился, не приехал бы сюда, а то — не могу... Ночей не спишь, думаешь — что-то теперь с Дуняшкой, живали, тепло ли ей, не голодна ли?.. «Не беспокоились»! Черти! Вот посмотрю на нее — если похудела, то за волосы — и домой. Я ей покажу курсы...

Марья Павловна. Тише, кажется, идет.

Явление IV

Те же и Суйков в халате, ермолке, очках, с трубкой.

Суйков. Пardon... Извините, пожалуйста, что я так просто... (*Кланяется.*) Простите ради бога.

Сомов. Ничего-с... Ваше дело... Нам это безразлично.

Суйков. Вам, да... может быть... но вот... (*К Марье Павловне.*) Простите, мадам, пожалуйста, простите...

Марья Павловна. Сделайте одолжение... Вы человек пожилой...

Суйков. Да, да, конечно... Но не принято и, пожалуйста, извините меня...

Сомов (*тихо*). Какого черта он извиняется. Убрался бы лучше вон, ведь видит хорошо, что люди посторонние.

Суйков (*Марье Павловне*). Прошу садиться. (*Ивану Кузьмичу.*) Не угодно ли?

Все садятся. Долгое молчание.

Вы Евдокию Ивановну спрашивали, кажется?

Марья Павловна. Да, да, ведь она дома?

Суйков. Как же-с, дома, но извиняется.

Сомов. У вас, я вижу, в столице все помешаны на извипнепнях... Чего извипняется? Пусть выйдет, а потом и извипняется, сколько ее душе угодно.

Суйков. В том-то и дело, что не может, и потому извипняется...

Марья Павловна. Странно!

Сомов. Почему это она «не может»? Экая птица, подумаешь... Ведь сказано, что хотят ее видеть.

Суйков. Да-с, дворник доложил... Но она не может принять вас, извиняется.

Сомов. А черт мне в ее извинениях! Я хочу ее видеть!..

Суйков. Уверяю вас, она не может... слегла в постель... больна...

Сомов. Что? Больна?

Марья Павловна. Ах, где же она, где? Где ее комната? (*Иван Кузьмич и Марья Павловна порываются к дверям.*)

Суйков. Виноват-с... Позвольте. (*Загораживает дорогу.*) Позвольте-с. Я не могу вас допустить... позв...

Сомов. Чего вертитесь на дороге... пустите!

Суйков. Ш-ш! Пожалуйста, тише... Вы ее испугаете вашим криком!

Сомов. Так пустите же! Где она лежит?

Суйков. Уверяю вас, не могу, вы ее расстроите окончательно.

Сомов. Пустите, черт вас возьми, пустите...

Суйков. Ах, какой вы горячий! Говорю — не могу. Если что нужно передать, скажите мне, — я в точности... Ведь это все равно...

Сомов. Как все равно?! Да вы-то что? Секретарем при ней состоите?

Суйков. Как секретарем? Я — муж.

Марья Павловна. Муж?

Сомов. Как муж?

Суйков. Очень просто — муж.

Марья Павловна. Разве она вышла?

Суйков. Что же, ей в девках до сих пор сидеть?

Марья Павловна. И вы ее муж?

Суйков. Как следует быть — законный.

Марья Павловна. И она решилась выйти за такого урода?

Суйков. Как-с? Позвольте!.. Я тридцать пять лет на оперной сцене прослужил, а вы говорите...

Марья Павловна. Нет, вы шутите, вы не могли на ней жениться... Вы не можете быть ее мужем... Это слишком бесчеловечно... гадко...

Суйков. Гадко?! Почему? Позвольте вас спросить, почему?

Марья Павловна. Вы, наверное, обольстили ее, обманули!

Суйков. Извините-с, она сама повисла мне на шею...

Марья Павловна. Сама? Дуня?!

Суйков. Да-с, сама Дуня, если вы хотите знать.

Марья Павловна. И вы женились?

Суйков. Как видите.

Сомов. Да как вы смели?!

Суйков. Смелости особой не требовалось. Пристала — женись, я женился.

Сомов. Да кто вам позволил, старый шут?!

Суйков. Что?! Что вы сказали?! Шут?! Эй, дворник! *(В окно.)* Дворник! Я вам покажу, какой я шут... Эй, Петр! Вы узнаете, какой я шут... Николай! Петр! Я вас выучу...

Сомов. Пока ты меня выучишь, я раздавлю тебя, как крысу... *(Порывается.)*

Марья Павловна *(удерживает)*. Иван Кузьмич! Успокойся.

Сомов *(жене)*. Пусти, говорю. *(Порывается.)*

Суйков. Ка-р-ра-ул!

Явление V

Те же и Евдокия Ивановна в белом капоте.

Суйков. Помилуй, Дудуся, пришли... Говорю, что ты не можешь, больна... А они ломаются к тебе... Ругаются, скандалят...

Сомов. Ха-ха-ха!

Евдокия Ивановна. Милостивый государь, я не имею удовольствия вас знать.

Сомов. Так это и есть ваша жена?

Евдокия Ивановна. Да-с, я жена Андрея Михайловича, мадам Суйкова.

Сомов *(сдерживая смех)*. Извините... Ошиблись... Мы вас напрасно побеспокоили. Мы не к вам...

Евдокия Ивановна. Не ко мне? Значит, вы ошиблись квартирой?

Сомов. Никак нет, насчет квартиры не сомневайтесь, сударыня. Мы хотя народ не ученый, но можем отличить художества...

Евдокия Ивановна. А-а, понимаю теперь, понимаю.

Входит Мазиллов.

Вот, кстати, он сам... Позвольте представить, — художник Мазиллов, молодой, но пишет необыкновенно хорошо.

Т е ж е и М а з и л о в.

М а з и л о в. Очень приятно... Чем могу служить? Портретец прикажете? Бюст или семейный?

С о м о в. Не извольте беспокоиться.

М а з и л о в. Как угодно.

С у й к о в. Нет, вы взгляните на его работу, он пишет мой портрет.

М а р ь я П а в л о в н а. А в самом деле — это очень интересно...

С о м о в. Марья! Нет, вы портреты-то оставьте, а вы нам живых людей покажите. Кто у вас есть еще? Разве не все дома?

Е в д о к и я И в а н о в н а. Кажется, все, — Трубадуров дома, Перышкин дома, Светлова только нет.

С о м о в. Ну, а барышня? Курсистка, что ли!

Е в д о к и я И в а н о в н а. Курсистка?

С о м о в. Ну, студентка, как хотите называйте...

Е в д о к и я И в а н о в н а. У нас никакой студентки нет, боже сохрани, я их так боюсь...

С о м о в. Как нет? Письмо-то ведь ее вот, — и улица, и дом, и квартира эти самые.

Е в д о к и я И в а н о в н а. Уверяю вас, нет. -

С о м о в. Чего меня уверять? Я знаю, что здесь, и пусть выходит. Прятаться-то ей некуда, и вам ее хоронить незачем.

Е в д о к и я И в а н о в н а. Господь с вами! Говорю, что у нас никакой студентки нет.

С о м о в. Есть, сударыня, есть, и я не уйду, пока она не покажется.

Е в д о к и я И в а н о в н а. Нет, вы уйдете, потому что у нас ее нет.

Сомов. А вот посмотрим... Ведь хуже будет, — избыю, как собаку... Пусть не выходит, не падо! (*Садится.*)

Суйков (*тихо*). Нет, это сумасшедший, право, сумасшедший. (*Жене.*) Пожалуйста, Дудуша, не спорь с ним, — ты видишь, он какой.

Евдокия Ивановна (*мужу*). Отколуппсь! (*Сомову.*) Так вы не уйдете?

Сомов. Говорю — не уйду. (*Жене.*) Садись, Марья.

Евдокия Ивановна. Нет, вы уйдете.

Сомов. Не уйду.

Евдокия Ивановна. А вот посмотрим. Дворник! Дворник! (*Убегает.*)

Суйков (*Мазилону*). Сделайте милость, позовите сюда Перышкина и Трубадурова... Лучше, чем больше пас, тем лучше...

Мазиллов. Ха-ха-ха!

Суйков. Вам смешно... Смотрите, каким он зверем смотрит... Нет, голубчик, вы их позовите.

Мазиллов (*тихо*). Чудесная мысль. Скажу Перышкину, что приехал содержатель частного театра за его комедией.

Суйков. Чего вы медлите?

Мазиллов. Иду, иду. (*Уходит.*)

Суйков (*пятится*). У-у, медведь... И глаза-то у него не человеческие... Дудуся! Дуня! (*Уходит.*)

Явление VII

Сомов и Марья Павловна.

Марья Павловна. Уйдем лучше, Иван Кузьмич, право, выйдет скандал.

Сомов. Ни за что! Трое суток буду сидеть.

Марья Павловна. Ну, ты сиди, Ванечка, а меня уж отпусти, я пойду...

Сомов. Марья!

Марья Павловна. Может быть, ее на самом деле нет...

Сомов. Здесь, я знаю, что здесь. *(Достает письмо.)*
Читай!

Марья Павловна. Читала, сто раз читала.

Сомов. А если читала, так и сиди!

Марья Павловна. Надоело мне сидеть, Иван Кузьмич.

Сомов. Марья!

Марья Павловна. Тиран! *(Садится.)*

Явление VIII

Те же и Перышкин с тетрадью.

Перышкин *(развязно)*. Виноват, что заставил дожидаться... Мне только сейчас доложили... Имею честь... Перышкин — литератор, Константин Константинович.

Сомов. Ну-с, а дальше что?

Перышкин. Дальше? Как дальше? Виноват.. Пардон... Я вас не расслышал... Пардон...

Сомов. Чего вы ломаетесь, как свинья на веревочке? Говорите, что вам нужно.

Перышкин. Виноват... вы говорите... Пардон... Я вас не понимаю...

Сомов. Черт знает. Здесь, кажется, все рехнулись... Ну, столица!

Перышкин. Да-с, столица ничего... Город хороший... А вы как, надолго?.. Давно?..

Сомов. Чего вы ко мне пристали? Что вам нужно от меня? Что?..

Перышкин. Виноват... Вы, кажется, сами?.. Пардон...

Сомов. Точно сговорились, — виноват да виноват. Чем вы виноваты? Я не мировой судья, не судебный следователь, слышите, не прокурор...

Перышкин. Знаю-с... Очень хорошо знаю-с... Я много о вас слышал. У вас театр поставлен превосходно, — образцовая труппа, замечательно умелый выбор пьес... Жаль, у меня драма не окончена еще. Пока могу дать только комедию... Не хвастаясь, скажу, комедия не дурна.

Сомов. Да, правда, комедия хоть куда.

Перышкин. А вы разве слышали о ней?

Сомов. Не то что слышал, — видел, играл...

Перышкин. Нет, вы изволите смешивать. Моя комедия называется «Амур и Психея»; она еще не шла на сцене. Вот рукопись, не угодно ли полюбопытствовать?..

Сомов (*вырывает и швыряет тетрадь*). Убирайтесь вон с своей комедией к черту!

Перышкин. Как к черту? Позвольте-с. Ведь вы сами просили?.. Я любезно согласился на ваши условия, а вы — «к черту»... Да еще швыряете тетрадь...

Сомов. Убирайтесь, говорю, пока я вас не вышвырнул в окно.

Перышкин (*пятится*). Меня?.. Как?.. (*Тихо.*) Нет, не может быть, Мазиллов перепутал... Не может быть, чтобы содержатель театра был таким. (*Подымает тетрадь.*) Ах, маляр проклятый, подвел, оскандалил...

Явление IX

Те же, Евдокия Ивановна, Суйков и Петр входят со стороны кухни. Мазиллов и Трубадууров с корнетом из средних дверей.

Вся сцена до последнего явления идет очень быстро.

Трубадууров. Ха-ха-ха! Ну-ка, где он, где?

Евдокия Ивановна. Не уйдете, и теперь не уйдете?!

Перышкин. Послушайте, сосед, вы меня, кажется, подвели?..

Мазиллов. Ха-ха! Не берет вашу комедию?

Трубадууров. Приступай, братцы! Бери его! Ха-ха!

Евдокия Ивановна. Не уйдете, я вас спрашиваю?

Марья Павловна (*боязливо*). Иван Кузьмич... Сомов (*строго*). Марья!

Марья Павловна. Я не могу, умру.

Сомов. Умирай, а сиди.

Суйков (*жене*). Не подходи ты, Дудушечка, так близко, не подходи.

Сомов. Чего же вы стали? Берите! Пришли, так берите!

Трубадууров. Ха-ха! Приступай, ребята! (*Играет галоп.*)

Евдокия Ивановна. Не хотите? Не хотите?!

Суйков. Душечка, не подходи так близко!..

Явление X

Те же и Светлов.

Светлов (*в дверях*). Что это? Взятие Карфагена? Евдокия Ивановна! Андрей Михайлович! Что такое? Господа! Что случилось?

Его замечают, спешат ему навстречу и говорят наперерыв.

Суйков. Николай Васильч!

Евдокия Ивановна. Милый Николай Васильевич, разберите нас.

Перышкин. Странное происшествие, необыкновенный субъект...

Трубадуров. Медведя травим! Ха-ха-ха!

Мазиллов. Патрон Перышкина! Ха-ха!

Светлов. Ничего не понимаю.

Перышкин. Представьте, Мазиллов приходит...

Евдокия Ивановна. Перышкин! Я вас прошу, не мешайте.

Трубадуров. Ну, ребята, приступай! *(Трубит.)*

Евдокия Ивановна. Тише! Трубадуров!

Светлов. Пощадите! Трубадуров! Трубадуров!

Трубадуров. А? Что?.. Отступление? Не будем его брать?..

Светлов. Кого? Кого вы берете?

Суйков. Медведя, голубчик, медведя... Вишь, сидит, лапы расправил.

Светлов. Бог с вами!.. Что он вам сделал?

Евдокия Ивановна. Помилуйте, Николай Васильевич, является откуда-то. Кто он, что он, никто не знает... ищет какую-то курсистку... Говорим, не знаем, не верит. Прячете, говорит, и не уйду, говорит, пока она не покажется...

Светлов. Так, так, так... Понимаю... Позвольте, я сейчас. *(Подходит к Сомову.)* Могу я узнать имя курсистки?

Сомов отворачивается.

Евдокия Ивановна, Сомова, да?

Сомов. Да, да, да! Евдокия Ивановна, дочь моя, черт вас возьми, да!

Светлов. Так вы отец Евдокии Ивановны?

Сомов. Чего вы пристали? Коли бы не отец, так я бы разве того... Понятно, отец.

Светлов. Очень приятно, очень рад вас видеть...

Сомов. Так вы ее знаете?

Светлов. Знаю, а как же, мы с нею приятели... Позвольте познакомиться... Светлов Николай Васильевич, учитель.

Сомов. Очень рад. (*Жмет ему руку.*) Но вы скажите мне, имею я право ее видеть или нет?

Светлов. Конечно, конечно. Но она здесь не живет теперь... Она перешла на другую квартиру... Я доведу вас к ней...

Марья Павловна (*дает ему руку*). Как я вам благодарна...

Сомов. Так идем же, идем, господин учитель.

Светлов. Нет, позвольте!... Дайте слово, что вы ее простите, иначе не поведу.

Марья Павловна. Даем, даем честное слово.

Сомов. Марья! (*Светлову.*) Вам-то что?

Светлов. Это уж мое дело. Дасте?

Сомов. Ну, черт с вами!

Светлов (*жмет руку*). Теперь еще одно слово...

Сомов. Э, господин учитель, этак мы до завтра не кончим...

Светлов. Нет, я в одну минуту. (*Ко всем.*) Господа! Поздравьте меня — я скоро женюсь.

Суйков. Николушка! Дорогой мой! (*Обнимает.*) Поздравляю.

Евдокия Ивановна. Милый Николай Васильевич!.. Кто же твоя невеста, мой дорогой?

Суйков. Да, да, Николушка, кто твоя невеста?

Светлов. А вот увидите. Она обещала заехать сюда ровно... (*Смотрит на часы.*) Сию минуту она будет

здесь, чтобы пригласить вас всех на обручение. (*Сомовым.*) Надеюсь, и вы ошастливите?

Марья Павловна. Не знаю, как муж...

Сомов. Марья! Благодарим покорно. Нам бы дочь повидать сначала.

Светлов. Увидите, увидите...

В дверях появляется Дуня.

Вот... это не она?

Общее удивление.

Явление XI

Т е ж е и Д у н я.

Сомов. Дуняшка?!

Марья Павловна (*бежит навстречу*). Дуня! Милая!

Дуня. Отец!.. Мама!.. (*Обнимается с Марьей Павловной.*)

Светлов. Что, господа, не ожидали?

Перышкин (*тихо*). Муза! Ах, черт возьми!

Мазиллов (*тихо*). Скандал, совсем скандал.

Суйков (*тихо*). Не может быть! Неужели она?

Евдокия Ивановна (*тихо*). Не понимаю, хоть убей не понимаю.

Трубадуров (*тихо*). Вот тебе флейта.

Светлов (*Сомову*). Не забывайте данного слова. (*Подходит к Дуне, берет ее за руку и подводит к отцу.*) Простите и благословите!

Марья Павловна (*мужу*). Ваня, голубчик, не упрямясь.

Сомов. Марья! (*Та плачет.*) Ну, господь с вами... Не хотел было... да нет... застали врасплох. Расстроили...

Будьте счастливы. (*Утирает слезы, целуются. Общие поздравления, объятия и поцелуи.*)

Петр. Обознался... (*Машет рукой.*) Э-эх!

Суйков (*Светлову*). А твоя-то Дуня выглядит лучше моей. Ха-ха!..

Евдокия Ивановна. Бесстыдник. Я тридцать первый год тебе верная жена...

Сомов (*Дуне*). Ну, а как же курсы-то твои?

Суйков. Помилуйте, какие курсы?..

Евдокия Ивановна (*зажимает ему рот*). Молчи! Не твое дело...

Дуня. Я, я... пока...

Светлов. Она пока была на низших курсах, а теперь блистательно выдержала экзамен в женский университет.

Занавес.



ПРОЗА



В ГОРАХ

Стоит только подняться от Мышиной тропы на Некрасовскую гору, чтобы не упустить случая полюбоваться очаровательной картиной: на первом плане, в крутых скалистых берегах, между горами камней извивается капризная, вечно неугомонная, покрытая блестящею пеною Кубань. Шум, подобный завыванию тысяч разнообразных голосов, производимый каскадами этой бурливой горной реки, наполняет собою свежий, упоительный воздух и придает как бы большую жизненность всей картине. Вершины высоких скалистых гор, группирующихся в чудной перспективе вокруг Кубани до рождающих ее вечных снегов, удивляют своею фантастичностью. Какая таинственность разлита по всей картине! Какая грандиозность! Необыкновенная грандиозность! Она даже как-то уничтожает наблюдателя, подавляет как-то... умаляет его... Но зато тот уголок, та неширокая гладкая долинка, служащая звеном между первым и вторым планом, та чистая бархатная полоска, по которой серебрится живописная линия Кубани, — как приветливо она выглядывает из темной глубины окружающих ее громад, как она успокаивает, как она манит, манит к себе!.. А то прозрачное облако дыма, окутывающее подножие мрачного утеса, — это матовое покрывало меланхолической Шуаны, — как оно гармонирует со своей хозяйкой!

Под этим дымом скрывается от любопытных глаз небольшой, все еще недоверчивый, хотя и православный, осетинский аул Дурхум. Недостроенная, но уже сгнившая деревянная церковь, серые, с маленькими отверстиями вместо окон, сакли, безобразно пузатые плетеные трубы на их плоских крышах, кривые на кривых столбиках сараи, грязные дворы, разломанные плетни невольно свидетельствуют о несостоятельности, вернее, о первобытности жителей этого аула. Только два домика, стоящие на площади, как бы говорили всякому постороннему посетителю: и мы, дескать, не желаем отстать от Европы. В одном из них живет аульный священник, а в другом помещается аульная школа. Оба домика, хотя покрыты камышом и покрыты очень жидко, так что во время дождя священнику и учительнице приходится расставлять по полу тазы для собирания некстати просачивающейся через потолок дождевой воды, — но зато, говорю, оба эти домика были когда-то смазаны глиной и даже выбелены мелом. Теперь-то, впрочем, оба домика такие же серые, как и простые сакли; местами даже смазка их стен размывалась дождевой водой. К тому же оба домика со стеклами и редко с промасленной бумагой в оконных рамах, и даже со ставнями почти на всех окнах. Зато, повторяю, справедливо то, что оба домика были когда-то хорошо смазаны глиной и выбелены мелом. Кроме того, они могут служить прекрасной натурой для современного художника, если принять во внимание причудливую игру с ними румяных кокетливых лучей сегодняшнего утреннего солнца на синем, слегка фioletовом, фоне далеких снеговых гор. Какая сила теней! Какое разнообразие тонов!..

Картина будет вполне законченная, если не упустить из виду сидящую на деревянных ступеньках

поповского дома женскую фигуру с грудным ребенком на ее коленях и играющего у ее ног с большой мохнатой собакой мальчугана. Какой художественный беспорядок! Спавший на затылок красный платок, белокурые растрепанные волосы, вывалившаяся (а может быть, и выставленная нарочно) для кормления ребенка из прорехи грязной ситцевой рубахи мясистая грудь и ничем не прикрытые, почти до колен босые, почтенных размеров ноги. Изорванная сорочка на ребенке, запачканное его лицо, жидкость, свесившаяся из носа до нижней его губы, довершали этот беспорядок...

По рябому лицу этой внушительной женской фигуры, по вздернутому носу и по маленьким серым глазам ее можно безошибочно сказать, что она чистокровная казачка.

Но каким образом она попала в осетинский аул? Очень просто. Она состоит в работницах у здешнего батюшки, и живет с ней, по-видимому, хорошо, ибо вот уже шестое лето приходит к концу с тех пор, как она впервые была привезена самим батюшкой на собственных его дрогах. Почему и не жить? Возни по хозяйству ей всегда было мало, так как батюшка за несколько дней до ее поступления схоронил свою возлюбленную попадью. Сам же батюшка, пужно полагать, нетребовательный, а хоть бы и требовательный, так, во всяком случае, она на одного его всегда успеет, уж разве что-нибудь особенное? Но в этом особенном батюшку нельзя заподозрить, потому что у его работницы за последние три года получился приплод в лице двух маленьких казачат. Впрочем, за верность слова «казачат» нельзя поручиться, ибо муж ее шестой год охраняет отечественные границы от нападения хищ-

ных персиян и несмотря на это...¹ появившийся приплод и, следовательно, на помеху...¹ должна иметь при выполнении своих обязанностей в доме священника. Этот последний не отказывает ей от места, что ясно свидетельствует о том, что она вполне добросовестно исполняет требования своего хозяина и что хозяин этот, в свою очередь, не особенно требователен.

Нам, конечно, незачем верить слепому слуху, будто батюшка очень часто отказывал ей от места, но она не уходила (как будто она на это имеет право!), и, мало того, говорят, что раз, когда работница нагрубила батюшке и этот батюшка за это хотел ее побить, то она исцарапала ему нос. Можно положительно сказать, что это просто-напросто клевета, потому уже, что большой нос батюшки (нельзя сказать, чтоб и особенно-то большой — обыкновенный грузинский, а батюшка грузин, следовательно, для него он вовсе не большой) подает повод ко всевозможным шуткам в среде аульской молодежи. Хотя, однако, говорят, что все видели, как нос батюшки действительно исцарапан... Но, собственно говоря, и это ничего не доказывает — мало ли отчего нос батюшки мог быть исцарапан.

Вообще следует заметить, прихожане относятся к батюшке очень недружелюбно. Какне только клички ему не дают... Неприлично даже говорить. Да что клички! Однажды так один дерзкий осетин перетянул его два раза палкой по спине за то, что он наставлял его жену в недостроенном здании, где теперь помещается аульное правление... Но виноват ли батюшка на самом деле? Церкви нет, следовательно, и вести богоугодные беседы с прихожанами негде... Попробовал было в недостроенном доме, так нет — за это его бьют.

¹ Рукопись в отмеченных местах повреждена. (Сост.)

Ну что же прикажете делать? Народ-то больно необтесанный — не понимает.

Что касается, например, до богослужения, так батюшка его, наверное, уже запомнил, да как и не запомнить? Он, кажется, лет десять уже не входил в царские врата. Хорошо, если есть кого крестить или хоронить, а то бросайся от скуки хоть с моста в ледяные объятия Кубани. Впрочем, батюшка в этом случае предпочитает уезжать на своих дрогах к священнику соседней станицы и разгонять там недели две свою невыносимую скуку. Этот способ разгонять скуку батюшка иногда заменял, однако, другим, но о нем неловко рассказывать, потому что тут пришлось бы говорить о писарях и о плотниках, о печатниках и о кабатчике, и о водке, и бог знает еще о чем... Хотя, собственно говоря, в благообразности и первого-то способа я не смею уверять никого, мало ли там различных случайностей — кто их может знать? Но он уже имеет то преимущество, что прихожане не могут видеть, как батюшка разгоняет скуку...

1885—1890 (?)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Отрывок)

— Итак, протекли четыре года после университетской жизни.

Однажды вечером, прогуливаясь по Невскому, с целью высмотреть хорошенькую кокетку, я невольно остановился перед одной молоденькой особой. Яркий свет витрины, приковавшей ее внимание модными безделушками, дал мне возможность рассмотреть ее как нельзя быть лучше... Вы не можете себе представить, что это была за красавица! Беспokoйно-кокетливый взгляд ее жгучих глаз проник до глубины моей души... С нею не было кавалера. Я долго не решался дать ей заметить, что я иду по ее стопам. На одном перекрестке извозчик преградил ей дорогу. Она остановилась... Я очутился рядом с нею... Наши плечи слегка коснулись друг друга... Тот же приковывающий взгляд, та же обворожительная улыбка на ее прелестных губах!.. Я почувствовал в себе больше смелости.

— Вы позволите?.. — спросил я замирающим голосом.

Ее, по-видимому, удивила моя скромность.

— Будьте так любезны... — ответила она и добродушно засмеялась...

Я задыхался от блаженства. Мы шли довольно скорым шагом. Неужели, думал я, такое дивное создание

может публично торговать своими обворожительными формами? Нет, никогда! Это было бы слишком чудовищно. Она хочет посмеяться надо мною, хочет завлечь меня и моею же пошлостью швырнуть мне в лицо, моею же грязью забрызгать мое пахальство... Звонкий ее смех рассеял мои неуместные подозрения.

— Что же вы молчите? С вами скучно гулять...

— Я очарован, я предвкушаю блаженство твоего горячего поцелуя... — Мне стоило необыкновенных усилий сказать ей эту пошлость.

— Вот как!.. Возьмите извозчика! — И она круто повернула к стоявшему у фонаря «Ваньке».

Я сел рядом с нею и взял ее за талию.

— Вы студент?

— Нет, я уже окончил курс.

— Где?

— В университете.

— Служите?

— Нет.

— Что же вы делаете?

— Бездельничаю.

Она звонко расхохоталась и затем, беззаботно продолжая смеяться всю дорогу, стала рассказывать мне самые возмутительные анекдоты, самые отвратительные похождения на этом позорном поприще. Передавала мне свои наблюдения над посетителями ее гостеприимного ложа, удивительно метко обрисовывая при этом особенности, присущие тому или другому званию. Вульгарность ее рассказа возмущала меня до глубины души... Я инстинктивно чувствовал, что эти пошлые фразы — не звуки ее сердца, не проявление ее души. В них я слышал что-то фальшивое, что-то напускное, как бы необходимое для ее роли. Но что замечательно, талантливый артист, в какой бы возмутительной роли

ни являлся он на сцене, все же своей игрой поглощает все существо зрителя, и чем больше правдивости в его игре, тем отвратительнее делается порок, тем очевиднее становится высокое значение добродетели.

Я промолчал всю дорогу, не сводя глаз с ее прелестного лица. Не помню, как я очутился рядом с нею на диване в ее гостиной.

— Развеселись же, наконец, а то я тебе всю бороду выщиплю, — обратилась она ко мне, усаживаясь на мои колени и ласково взяв меня за бороду. Я молчал... Она кокетливо посмотрела на меня, в глаза, приподняла мою голову, похлопала меня по щеке и страстно поцеловала... я невольно поморщился. Вы понимаете?.. Понимаете ли вы — я поморщился от жгучего поцелуя такой красавицы и знаете, почему? Что должен испытывать актер — старик, да к тому же урод, загримированный для роли молодого влюбленного, в тот момент, когда его мнимая подруга, молодая бойкая актриса, целуя его, старается, чтобы звук поцелуя звонко и отчетливо пронесся по всем уголкам обширной театральной залы; актер, который сознает, что его размалеванная физиономия не может служить источником таких страстных поцелуев, что они ни больше ни меньше, как только жалкое орудие личных интересов артистки на поприще сценического искусства?.. То же самое испытывал и я при первом поцелуе моей Наташи, когда она, в силу необходимости занимаясь позорным промыслом, артистически исполняла на моих коленях роль безправственной, развращенной до мозга костей проститутки. Не трудно было угадать, что она должна была почувствовать в ту минуту, когда увидела тщетность своих усилий возбудить во мне животные инстинкты... Холодное пренебрежение к ее поцелую окончательно оскорбило ее самолюбие. Лицо мгновенно поба-

гровело; улыбка исчезла с ее губ; жгучий взгляд силился проникнуть в тайники моей души. Я невольно опустил глаза. Казалось, она угадала мою мысль. Комната огласилась звонким сценическим хохотом...

— Если бы я знала, что ты такой монах, я бы ни за что не поехала с тобой... Я думала, что ты мужчина, а ты... — Она опять принужденно захохотала и быстро соскользнула с моих колен.

Я молча следил за нею. Не спуская с меня глаз, она с тем же хохотом плавно прошла в соседнюю комнату и как-то вдруг перестала смеяться.

О, если б вы знали, что со мной делалось в это время! Надежда вызвать ее на откровенность бледнела перед крепнувшей верой в ее непоколебимую гордость, в ее настойчивое желание остаться верной своей роли и доиграть ее с полным самообладанием артиста. Я впервые понял тогда со всею очевидностью все свое ничтожество и всю неизмеримую силу этой возвышенной натуры... Я полюбил ее в ту минуту.

Сдержанный шепот невольно обратил мое внимание. Двери, соединявшие нас, притворились; я заинтересовался еще более, подошел к ним и стал вслушиваться...

— Не принимай его, не принимай! — говорил дрожащий голос Наташи. — Скажи, что меня дома нет...

— Он знает, что ты дома, — ответил ей хриплый женский голос.

— Ну, так скажи, что я больна, что не могу его принять... Не пускай его ко мне. Я не могу... — Последовало легкое восклицание: — Уйдите! — продолжала она с отчаянием: — Зачем вы сюда пришли?! Уходите! Уходите отсюда!

— Наташа, голубушка! Что ты пугаешься... ведь это я — твой Вольдемар, — с легкой усмешкой старался успокоить ее мужской голос. — Не узнаешь?!

— Дворник! — крикнула Наташа во весь голос. — Аксинья! Позови скорей дворника... Пусть выведет этого князька... Прочь, прочь, не прикасайтесь ко мне, не оскверняйте семейного союза: у вас молодая жена... княгиня... красавица... — И она истерично зарыдала.

— Наташа, опомнись, — начал было опять мужской голос. — Ведь мы любим друг друга...

— Молчите! — перебила она. — Я вас не знаю. Если вы не хотите скандала, оставьте немедленно мою квартиру.

— Нет, ты шутишь, Наташа.... Я уверен, что ты любишь меня...

— Люблю? Тебя? — Она нервно захохотала... — Нет, я презираю тебя, негодяя... — Вслед за тем послышался стук и опять голос Наташи, но уже более глухой. — Дворник, дворник! — кричала она, как надо полагать, в растворенное окно.

— Наташа! — перебил ее тревожный голос мужчины. — Опомнись!.. Что ты делаешь! Я ухожу...

— Ну, так прочь же, прочь! Сию секунду... Дворник! — крикнула она еще раз.

— Проклятая потаскушка! — произнес с озлоблением мужчина.

Последовала небольшая пауза.

— Ступай проводи его и замкни за ним двери, — закончила Наташа тихим взволнованным голосом; и все замолкло...

Я был весь в огне. Тело мое дрожало, как в лихорадке. Сомнения мои рассеялись... Я увидел истину во всей ее полноте. Эта странная случайность вывела меня из темного лабиринта, возвратила мне веру в самого себя, осветила неугасаемым огнем лучшие стороны моей души... Любовь Наташи стала для меня высшей

наградой за все, что бы ни пришлось перенести ради ее достижения...

Я стал ходить по комнате.

Не прошло и десяти минут, как двери распахнулись и в них, как в картинной рамке, появилась Наташа. Поверите ли? Я до сих пор рисую в своем воображении этот дивный, не поддающийся никакому описанию, момент, когда Наташа бесспорно достигла самой высшей точки своего величия. Лицо ее было бледно, большие бархатные глаза ласкали кротким приветливым лучом... губы слегка дрожали... Густые каштановые волосы сползали живописными прядями на открытые плечи... Тонкая батистовая рубашка ясно обрисовывала ее очаровательные формы... Наши взоры встретились... Впечатление, произведенное ее появлением, не ускользнуло от ее наблюдательности. Радостная улыбка осветила ее лицо... Голова кокетливо склонилась на сторону, обнаженные руки приготовились заключить меня в свои объятия... Еще один момент, — и Наташа была вправе торжествовать.

— Что вы делаете?! Вы с ума сошли. Вставайте, вставайте! — говорила она в замешательстве.

Я стоял на коленях и просил ее руки.

На все мои уверения и клятвы она отвечала обычным сценическим хохотом. Так прошло около минуты; наконец она перестала смеяться, выпрямилась и, скрестив на груди руки, окинула меня холодным, леденящим сердце и кровь взглядом.

— Несчастный! — произнесла она после продолжительной паузы. — Вы хотите пощеголять перед бездельниками своим благородным порывом... Я вас ненавижу, — добавила она тоном глубокого презрения и медленно прошла в соседнюю комнату.

Я был разбит окончательно.

Не знаю, долго ли я еще простоял на коленях; не помню, говорил ли я еще что-нибудь... Помню только, что я уже сидел на диване и рыдал, как ребенок. Наташа сидела рядом со мной и старалась меня успокоить. Она была одета в черное, волосы были подобраны; лицо пылало, на глазах оставались следы недавних слез... Она говорила мягко, но убедительно; ласкала меня, как младенца, который по детской наивности, желая взять пламя, обжег себе руку и, рыдая, протягивает к нему другую... В самых ужасных красках рисовала она свое прошедшее. В каком отвратительном виде старалась выставить себя в настоящем! Как силилась она доказать мне ошибочность моих мнений, безумство моего предложения! Но напрасно! Я был тверд, потому что глубоко верил в ее величие, потому что полюбил ее со всею силой моей души... И я не ошибся, мне не пришлось раскаиваться.

1889 (?)



ОХОТА ЗА ТУРАМИ

Аул Зебат состоял всего только из тринадцати дворов. Сакли его, словно гнезда ласточки, лепились в складках утеса, вздымавшегося до облаков из глубокой теснины. Бушующий поток на скалистом дне ущелья казался из аула серебряной нитью. Ни кусточка, ни деревца кругом! Везде скалы, одни скалы, поросшие мхом, и голый безжизненный камень.

Жили в этом ауле осетины; жили очень бедно, потому что не было у них ни лугов, ни пахотной земли. Мужчины занимались охотой за турами, а женщины смотрели за хозяйством. Козы заменяли им коров, а ишаки — лошадей. У кого было два осла, тот считался уже богатым. Домашнюю птицу всего аула составляли хохлатый петух и две-три конопатые курочки.

Осенью окрестности аула принимают еще более печальный вид. Тощая трава желтеет. Серые тучи спускаются до самого аула; из ледников дует холодный ветер. Начинаются дожди, изморозь, снег...

Впрочем, в конце сентября выпадают иногда ясные солнечные дни с холодным утром и с теплым великолепным вечером. Лучи заходящего солнца позлащают причудливые вершины гор. Все ущелье покрывается прозрачной дымкой, из которой, как заколдованные замки, встают зубчатые скалы. Далеко в глубине

рокошет неугомонный поток, и только он, переливаясь па тысячи ладов, нарушает мертвую тишину безмолвных утесов.

В один из таких вечеров к крайней сакле аула подошел молодой осетин.

— Тедо! — позвал он, не входя в саклю.

— Кто там? — отозвался мужской голос, и вслед за этим в низких дверях показался коренастый мужчина в серой черкеске и холстяной шляпе. — А, это ты, Сабан... Здравствуй! — обратился он весело к молодому осетину. — Что случилось?

— Да проклятый козел стащил один из моих чабуров (обувь) и оставил от него только плетеную подошву, — отвечал молодой осетин чуть не со слезами.

— Как так?!

— Очень просто. Я их починил, смазал, выложил свежей травой. Оставалось только надеть... Да завожился с ружьем. Надо, думаю, кремень переменить. Переменил... Хочу надеть чабуры... Левый на месте, а правого нет. Я — искать, туда — сюда... Нет нигде! Сестру оттащил, брата прибил — нет, да и только! А козел тем временем жует да жует себе в темном углу. Мать заметила. Отняли — одна плетушка.

— Плохо дело, — со смехом заметил Тедо, — ну, да ты успеешь еще починить его. Мы будем ждать тебя до восхода луны.

— Неужели?.. Вот спасибо...

— Благодарн Фсати, который готовит нам с завтрашней зарей стадо круторогих, а пока ступай кроить свой чабур.

— Иду, иду! — И молодой осетин быстро зашагал по кривой улице.

— Не забудь и других предупредить, — крикнул ему вслед Тедо и вернулся в саклю.

Сакля Тедо имела два отделения. В первом, за плетнем, помещались козы, а во втором — сами хозяева. Небольшая дыра в южной стене жилого отделения заменяла окно. Посреди земляного пола был разведён огонь. Дым выходил в отверстие в потолке. Над огнем висел котелок. Молодая жепщина делала из темного теста лепешки и запекала их в горячей золе. По другую сторону очага сидел старик и развлекал грудного ребенка. Вот и вся семья только что вошедшего Тедо: отец, жена и сынишка.

Зураб — так звали старика — был когда-то замечательным охотником; но старость одолела его: он плохо стал видеть и уступил свое ружье сыну. Сын с честью заменил отца и считался лучшим охотником в ауле.

Когда у Тедо начинались сборы на охоту, Зураб становился веселым и разговорчивым. Он припоминал свою молодость и давал сыну нужные советы. Только Залина, молодая жепка Тедо, всегда очень скучала, когда муж отправлялся на охоту. Много рассказов она слышала об опасностях охоты за турами и потому боялась за своего мужа. Когда она высказывала свои опасения, то Тедо обыкновенно шутил над ее женской трусостью. Слез он не терпел, и она никогда не смела плакать при нем.

— Кто это приходил? — спросил Зураб, когда сын его вернулся в саклю.

— Сабац, — ответил Тедо. — Он просит подождать его до восхода луны — не успел, говорит, приготовиться. Я сказал, что можно.

— Конечно, конечно, — одобрил старик, — и мы всегда так делали. Луна всходит рано — вы успеете. В лунную почь туры спускаются ниже. Если вы пойдете по Мышшиной тропе, то к рассвету перехватите их на перевале.

— Оно так, — заметил сын, — да по этой тропе опасно подыматься ночью.

— Бабы! — упрекнул старик. — Для охотника за турами не должно существовать препятствия. Я по этой тропе подымался в туманную ночь, под ливнем. Положим, за тремя гротами чуть не поплатился жизнью — сорвался... но ничего, бог миловал. Зато утром свалил вот этого самого козленка. — И Зураб самодовольно указал на два туры рога, висевшие на стене. Рога были необыкновенной величины.

— Я за себя не боюсь, — оправдывался Тедо. — Я знаю каждый камешек на этой тропе; но между нами будут неопытные охотники, — чего доброго, не согласятся.

— Детей никогда не надо спрашивать, — сурово заметил старик. — Они должны следовать за старшими.

Ужин был готов. Залина сняла котелок, наполнила две чашки похлебкой и вместе с лепешками поставила их на круглый низенький столик о трех ножках. Тедо взял столик и поставил его перед отцом. Старик передал ребенка матери и с молитвой преломил лепешку. Тедо почтительно подсел к отцу и начал с ним ужинать.

Залина, по обычаю, стояла с ребенком на руках.

Когда Зураб сделал последний глоток из своей чашки, погладил бороду и поблагодарил бога, Тедо торопливо взял столик и передал его жене. Зураб закурил трубку, пожелал сыну успеха в предстоящей охоте и отправился спать. Спал он в том отделении, где помещались козы.

По уходе старика начала ужинать и Залина. Тедо взял сынишку, посадил его к себе на колени и шутливо обратился к жене:

— Ты, кажется, опять вспомнила свою бабушку — чего нос повесила?

— Умоляю тебя, не ходи по этой проклятой тропе, — тихо выговорила Залина и наклонилась над чашкой. Крупная слеза быстро сбежала по ее смуглой щеке и упала в похлебку.

— Не прикажешь ли за турами охотиться в этой сакле из окна?

— Ну, а если... не дай бог... несчастье какое?..

— Э, душа моя! Бог не выдаст, медведь не съест... А если несчастье, то вот тебе, — продолжал он весело, качая сынка:— Видишь, какой молодец? Он тебя прокормит и похоронит... Так ведь, сыночек, да? Похоронить маму?

Ребенок расхохотался и замахал ручонками.

— Джигит, одно слово,— джигит! Ну, а все-таки ступай к матери!— И Тедо, крепко поцеловав ребенка, передал его жене.

— Эге, никак, и луна взошла, — продолжал он, выглядывая в окошко.— Ну, значит, собирайся и гайда!..

— Прощу тебя, не ходи сегодня,— умоляла со слезами в голосе Залина.

— С ума ты сошла!— крикнул Тедо.— С голоду умереть захотела?!

— Перебьемся как-нибудь... отложи охоту до другого раза.

— Зачем?

— Так... я боюсь.

— Ха-ха-ха! Глупая! Чего ты боишься? Чай, по первый раз... Слава богу, опытности хватит... еще других поучим... Ну, полно, полно. Будь умницей. Ведь жить-то надо. Только и кормимся, что охотой. Значит, не робей, а положишься во всем на волю святого Георгия. Не будь трусихой, и я приволоку тебе такого козленка, что сама потом будешь гнать на охоту — право!..

— Тедо! О, Тедо! — донесся голос с улицы.

— Иду!— крикнул ему в ответ Тедо и, сняв со стены ружье, сумки и башлык, вышел на улицу.

Мышиная тропа была вообще опасна, а тем более для ночного путешествия. Она то змеей извивается в расщелинах скал, то крутыми ступенями подымается по отвесной степе, то ящерницей ползет в морщинах неприступного утеса, то легкой паутиной огибает бездонную пропасть, то совершенно исчезает в хаосе разрушенных скал и каменных осыпей.

Местами она так узка, что негде ногу поставить и приходится ползти на четвереньках. На каждом шагу смелого путешественника может приплюснуть сорвавшаяся глыба, каждую минуту он рискует полететь в такую бездну, где и ворон не найдет его костей.

Тедо шел впереди всех. Ноги его уставали, но он карабкался бодро.

— Не могу идти дальше,— простонал один из новичков.

— Да, отдохнуть надо,— согласились другие.

— Некогда отдыхать!— возразил Тедо.— Скоро светать начнет, и к восходу не доберемся до перевала.

— Идите, кто хочет, а я не могу,— продолжал новичок.

— Баба!— крикнул на него Тедо.— Тебе бы тесто месить, а не за турами охотиться!.. Заурбек!— обратился он к шедшему за ним товарищу, — ты эту дорогу знаешь лучше меня; оставайся с ним, а мы пойдем. С восходом солнца мы, во что бы то ни стало, будем на перевале. Смело гоните туров — им не мшновать наших пуль.

— И я останусь,— робко произнес еще один охотник.

— Тем лучше,— ответил Тедо.— В каждой партии, значит, будет по три человека. Идемте!— И он снова стал карабкаться по отвесу. Сабан следовал за ним. До-

рога становилась хуже и хуже. Тедо ободрял своих товарищей, в опасных местах указывал им, где становиться погу, за какой камень держаться, какого размера сделать прыжок и прочее.

— Стой!— крикнул вдруг осетин.— Видно, был обвал: не на что ступить.

И действительно, в этом месте тропа прекращалась. Тедо посмотрел вперед и шагах в десяти увидел большой выступ скалы, где заметно было продолжение тропы. Но промежуток между охотниками и тропой представлял из себя почти отвесную каменную стену, вершина которой исчезала в утреннем тумане, а основание терялось в глубине зияющей пропасти. Много надо мужества и беспредельной отваги, чтобы перебраться на продолжение тропы, цепляясь за едва заметные уступы, за щели и морщины каменной скалы; но отважные горцы привыкли уже бороться с такими препятствиями.

— Давайте веревку,— крикнул Тедо.

Ему подали, и он обмотал один конец ее вокруг пояса.

— Держите хорошенько.

— Держим,— ответили его спутники.

Молчанье длилось около минуты. Тедо карабкался, как кошка, хватаясь за всякий выступ, за всякую неровность скалы.

— Поддай!— произнес он над пропастью.

— На! — ответили товарищи и поддали веревку, не больше как на пол-аршина.

— Еще! — повторил Тедо.

— На!..

— Есть,— весело крикнул Тедо на той стороне,— надежно. Приступайте смело.

Второй охотник перебрался легко, потому что веревку, которой он был опоясан, держали за оба конца. По ту сторону пропасти держал ее Тедо, а по эту — Сабан.

— Готово! — крикнул Тедо, когда товарищ их был уже на его стороне.

Оставалось переправиться Сабану. Он так же, как его товарищи, обвязал веревку вокруг поясицы, крикнул «держи!» и пачал карабкаться по отвесу скалы.

Все хранили глубокое молчание. Тедо все больше и больше укорачивал веревку. Еще два-три шага и Сабан будет на их стороне. Слышно было, как он царапался ногтями по камешной скале, как из-под его ног мелкие камешки катились в пропасть...

— Аллах!! — раздался вдруг отчаянный крик охотника. Сабан сорвался; но товарищи его были готовы к такому случаю: они крепко держали веревку, и молодой осетин качался над бездной пропасти.

— Ушибся? — крикнул ему Тедо.

— Кажется, нет, — прохрипел Сабан.

Товарищи вытащили его и стали продолжать свой путь.

— Ну, слава богу, — произнес Тедо после еще одного трудного перехода, — теперь мы вне опасности. Осталось немного, да и рассвело совсем.

Скоро они добрались до сборного пункта. Небольшая лужайка на самой вершине одного утеса была любимым местом отдыха всех охотников. Здесь они обсуждали плап охоты. Сюда же приносили свою добычу, разводили огонь, жарили шашлыки, пели свои любимые песни и сладко засыпали после утомительного дня и вкусного ужина.

— Вот теперь можно и отдохнуть немного, — весело произнес Тедо, снимая сумку и ружье. — Здесь мы дома.

Охотники сели в кружок и начали завтракать. У каждого оказались в сумке ячменные лепешки и соль, а у Сабана еще и кусочек сыру.

Между тем настало время охоты. Товарищи осмотрели ружья, сложили в кучу излишнюю тяжесть, пожелали друг другу успеха и пошли к намеченным пунктам. Тедо должен был занять самую высокую седловину. Он отделился и быстро стал подыматься по скату. На повороте он остановился на мигутку, махнул товарищам шапкой и скрылся.

Лучи восходящего солнца облили ярким румянцем снежную вершину Казбека. Горы стали выползать из утреннего тумана. Вдали чернело Дарьяльское ущелье. Тедо приближался к месту своей засады. Сделав крутой подъем, он остановился, чтобы перевести дыхание, оперся на ружье и осмотрелся... Вправо от него на небольшом скате паслось целое семейство туров. Сердце охотника забилося... Он поднял ружье, но тотчас опустил его. Пуля не могла долететь до туров. Надо было обдумать, с какой стороны удобнее к ним добраться. Дорог, несомненно, две. Верхняя — менее опасная для охотника, но слишком открытая: туры могут заметить и скрыться. По нижней можно подойти к ним очень близко, но она идет по слишком опасному обрыву...

— Э, ничего, — пробормотал Тедо и пошел по нижней...

Смелые обитатели вековых ледников и мрачных утесов совсем не подозревали угрожавшей им опасности. Некоторые из них беззаботно паслись на крутой лужайке, а другие мирно почивали на выступах скалы.

Никогда смелость и ловкость Тедо не доходили до такой степени. Необыкновенно осторожно, как дикий кот, крался он к своей добыче. Ни один камешек не столкнул он с места, ни одна песчинка не сорвалась

из-под его ног. Он подвигался медленно, но каждый новый шаг обещал ему несомненный успех...

Еще немного, и он может выбрать любого тура для своего выстрела. Вот он уже на месте... Площадка очень достаточна, чтобы присесть и прицелиться... Промеха не будет. Его не пугает темная бездна под ногами, он забыл о страшной осыпи гранитных обломков, беспорядочно громоздившихся над его головой, забыл, что при малейшем сотрясении вся эта рыхлая громада может двинуться и похоронить его на дне ущелья. Тедо думал только о туре, которого сейчас застрелит. Он взвел курок и стал целиться... Тур, которого он наметил, передвинулся на другое место. Тедо выждал, пока он остановился, хотел снова прицелиться, но невольно опустил ружье. Намеченный тур затеял игру, которую приходится видеть не всякому охотнику. Приподнявшись на задние ноги, тур ринулся вниз головой на другого, стоявшего гораздо ниже его на самом краю обрыва. Раздался треск столкнувшихся рогов. Нижний тур блистательно выдержал удар. Противники обменялись местами. Такой же отчаянный прыжок, страшный треск и необыкновенно блистательный отпор. Обменялись опять... Неизвестно, сколько времени продолжалось бы это состязание, если бы Тедо не прекратил его. В голове охотника быстро созрела коварная мысль — одним выстрелом свалить двух громадных туров. Расчет был верен. В тот момент, когда верхний тур поднялся на задние ноги и оттолкнулся от скалы, чтобы сделать обычный прыжок, Тедо выстрелил в нижнего, и оба бойца сделались жертвой хитрости охотника. Нижний был убит пулей, а верхний, не встретив его сопротивления, полетел вместе с ним в пропасть...

Охотник торжествовал, но недолго. Выстрел всполошил остальных туров. Они бросились бежать. Через

мипуту один из них показался на груди камней, громоздившихся над головой охотника. Минута была ужасная. Тедо видел, как проскочил тур, как под его ногами пошатнулся камень, за ним другой, третий... Еще секунда, и вся эта рыхлая громада заколыхалась, двинулась и грозно загрохотала по крутой стремнине. Каждый камешек увлекал за собой тысячи других... Гром и рокотанье завала были слышны на десятки верст... Густое облако пыли наполнило все ущелье...

Завал прошел. Где-то в глубине теснины замерло последнее эхо... Пыль осела. От выступа, на котором стоял Тедо, не осталось и следа. Все было стерто... уничтожено...

1893 (?)



ОСОБА

(Этнографический очерк)

Отец мой, скончавшийся в 1892 году 82-летним стариком, был живым свидетелем последней эпохи того невозвратного прошлого в истории Осетии, которое несет название *особа*.

По словопроизводству *особа* грузинского происхождения и может быть переведено выражением *осетинщина*.

В течение последнего полу столетия русское влияние на Кавказе так изменило самобытность туземцев, и в частности осетин, что последние словом *особа* стали характеризовать явление отсталое, не соответствующее современным требованиям жизни.

Правильное и всестороннее изучение кавказских туземцев в связи с их прошлым является весьма существенным фактором в деле наиболее успешного развития края. Интеллигентные туземцы, — их теперь немало, — могли бы в этом случае оказать и правительству, и своей родине, несомненно, крупную услугу. Еще несколько десятков лет — и заглянуть в прошлое туземцев Кавказа, доживших с незапамятных времен до XX столетия без своей собственной письменности, будет совершенно невозможно. Приступая с своей стороны к подобной рода попытке, я заранее прошу извинения за безыскусственную передачу того, что с фактической

стороны не подлежит сомнению. Будучи членом той среды, которую я намерен здесь описать, позволю себе привести ниже несколько биографических сведений из жизни отца моего, воспоминаниями и записками которого я пользовался, а также из моей собственной жизни.

Руководствуясь глубоким убеждением, что правильное изучение Кавказа для нас, туземцев, должно быть особенно дорого, я всякую разумную поправку в моих личных выводах приму с большой признательностью.

Нарская котловина. До проведения в пятидесятых годах XIX столетия Военно-Осетинской дороги верховья Алагирского ущелья, или так называемая Нарская котловина, замкнутая высочайшими снеговыми вершинами гор Адай-хох, Зикара, Тепле и их отрогами, оставалась совершенно изолированной от остального мира. Перевалы Мамисонский, Рукский и Зикарский (все в Закавказье) только в летние месяцы были доступны для переправы пешком с навьюченным ослом или лошастью. Касарское ущелье, по которому теперь называется Военно-Осетинская дорога, и Куртатинский перевал были еще менее доступны.

Представляя довольно плодородную субальпийскую котловину, площадью в горизонтальном сечении более 600 кв. верст, пересеченную в разных направлениях восемью более или менее глубокими ущельями с превосходными пастбищами на водоразделах, а прежде и лесами, эта горная трущоба как нельзя больше отвечала тому идеалу изолированности и неприступности, которым не мог не дорожить всякий, кого судьба забрасывала на Кавказ, на эту арену нескончаемых ожесточенных войн.

Благодаря таким топографическим и почвенным особенностям Нарской котловины жители ее, при

господствовавшем повсюду произволе, имели полную возможность избегать общений с соседями и вследствие этого сохранить в продолжение длинного ряда поколений свою независимость извне, а с нею и свою самобытность во всей ее неприкосновенности, вплоть до нашего поколения.

Сравнительно частое сношение осетипы Нарской котловины имели только с южными сородичами, подпавшими под власть Грузии, и с самими грузинами, главным образом ведя с ними меновую торговлю или поступая по найму в ряды грузинских войск во время войн с Персией или Арменией. Не только власть чужеземных повелителей никогда не проникала в Нарскую котловину, но даже самые могущественные из осетинских царей не предъявляли никаких прав на нее. До самого последнего времени в нарской церкви хранилась грамота Екатерины Великой, пожалованная представлявшейся ее величеству депутации нарских осетин. Несмотря на это, Нарская котловина только спустя почти полвека после присоединения Грузии к России была причислена к Горьскому уезду. Пристава из Грузии, назначавшиеся в Нарскую котловину, благоразумно уходили на родину, чтобы не быть подстреленными по примеру своих предшественников.

Главнoуправляющій в Грузии генерал от инфантерии барон Розен 4 ноября 1835 года сообщил Грузинскому дворянскому депутатскому собранию по поводу ходатайства Бессаргона Хетагурова о правах дворянства, что последний «есть из нарских осетин, которые никаких податей в казну не платят и даже приставам, потому требуемое собранием по делу о дворянстве дознание не может быть доставлено и совершенно излишне». Только с проведением Военно-Осетинской дороги осетины Нарской котловины с пол-

ным доверием вступили в число верноподданных всероссийского императора, хотя и до этого времени несколько нарских осетин служили в рядах русской армии.

На жизни и истории этих-то осетин Нарской котловины я намерен остановить внимание читателя.

Поселения. Каменные постройки в один и несколько этажей с плоскими крышами, живописно гнездящиеся на скалистой крутизне или амфитеатром сгруппированные на гребне утеса, образуют в Нарской котловине то множество мелких поселений, которое составляет выдающуюся особенность горной Осетии. На квадратной версте таких поселений можно насчитать с десяток. Каждая семья, захватив известный район, селлась особняком и затем, разветвляясь по мере своего разрастания, за недостатком места в родовом поселении, строила в возможной к нему близости новый отселок. Это очевидно из того, что в Нарской котловине нет почти ни одного поселения, жители которого не были бы связаны самым близким родством. Родственная же близость жителей разных поселений в громадном большинстве совершенно соответствует взаимному расположению поселений и близости к старейшему родовому поселению.

Карнизы утесов, крутизны и гребни скал, безопасные от снежных, земляных и каменистых завалов и сползания почвы, непригодные для обработки и менее доступные для нападения, были наиболее предпочтительны для поселений.

Сословная рознь. Постройки в 3—4 этажа, а тем более боевые башни в 6—7 ярусов принадлежали многочисленному и богатому роду. Хозяева таких замков, естественно, пользовались наибольшим влиянием и почетом. Переходя от поколения к поколению, это

предпочтении сильного и богатого слабому и бедному, конечно, должно было здесь создать ту разнь, которую многие приписывают чужеземному происхождению, настаивая на том, что влиятельные осетины происходят от разных инородных султанов, шахов, беков, ханов, принцев, князей и т. д.

Селение Нар с окружающими его родственными отселками многие столетия служило законодательным центром и охраной народных традиций не только для Нарской котловины, но и для многих примыкающих к ней южных и северных ущелий.

Производя себя от переселившегося из-за Кубани княжича Хетага, нарцы Хетагуровы и в настоящее время добиваются дворянства, ссылаясь на соответствующие грамоты грузинских царей, дарованные за военные услуги задолго до присоединения Грузии к России.

Сам Хетаг, по уверению его потомков, был младшим сыном князя Инала, жившего за Кубанью, на притоке последней — Большом Зеленчуке. Приняв христианство, Хетаг бежал от преследования своих братьев в горную Осетию. Старший брат Хетага Бнаслан считается родоначальником кабардинских князей, а второй, Асламбек, остался бездетным. Место первоначального пребывания Хетага в теперешней Осетии до сих пор считается святыней. Это совершенно обособленная, великодушная роща с многовековыми гигантами в Куртатинской долине. Эта «куща Хетага», как гласит народное предание, по зову Хетага выделилась от леса и укрыла его от преследования шайки кабардинских разбойников. Несмотря, однако, на такую легендарность личности Хетага, потомки его поименно перечисляют всех членов идущих от него поколений. Я, например, являюсь одним из многочисленных членов десятого поколения и могу перечислить своих предков: 1. Хе-

таг, 2. Георгий (единственный сын), 3. Мами и брат его, 4. Гоци и три его брата, 5. Зида (Сида) и два его брата, 6. Амран и четыре его брата, 7. Асса и брат его, 8. Елизбар и три его брата, 9. Леуап (отец мой) и брат.

Хетаг, говорят, проник в Нарскую котловину через Куртатинский перевал, так как другой путь по Алагирско-Касарскому ущелью был менее доступен и по природным и по искусственным преградам. На это указывает и то, что осетины Куртатинского ущелья особенно свято чтут память Хетага. В Нарской котловине указывают и теперь в сел. Слас на постройки, возведенные Хетагом. Указывают и место, где Хетаг убил оленя, — это подножье той скалы, на которой теперь громоздятся сел. Нар. Здесь указывают также на воздвигнутую Хетагом постройку, где он поселился. В преданиях нет никакого намека на то, чтобы Хетаг отличался военными доблестями или участвовал в походах и сражениях. Напротив, он славился своим незлобием. Однажды, взамен трех невольников, проданных им в Тифлисе, Хетаг получил, кроме платы, следующий совет: «Когда ты рассердишься, то левой рукой удерживай правую». Это наставление спасло жизнь его сыну, который настолько вырос за его продолжительное отсутствие, что Хетаг, по возвращении домой ночью, застав его спящим на одной постели с матерью, хотел заколоть его, но, вспомнив совет, положил оружие в изголовьи спящих, вышел и всю ночь провел на берегу реки. Утром все разъяснилось к общему счастью.

Участие нарских осетин в рядах грузинских войск по найму или волонтерам относится ко временам правнука Хетага — Гоци, который, будучи небольшого роста, сразил в единоборстве персидского великана и получил от грузинского царя с соответствующей

надписью и грамотой серебряную чашу. Чаша цела и до сих пор переходит по наследству от отца к старшему сыну. Из грамот грузинских царей, уцелевших в фамилии Хетагуровых, самая ранняя — пожалованная царем карталпским Арчплом (1730—1736) «в знак нашей милости парскому дворянину Хетагуру-Зидхану (Зиди) и потомкам дома вашего» и т. д. Сын Арчпла Александр пожаловал грамоту парскому дворянину Аса Амирапову в том, что «отцы и деды Ваши служили отцам и дедам нашим с таким тщанием, что дом наш по сие время находится вне всякой опасности, почему» и т. д. Царь карталпский Теймураз пожаловал «жителям Нар, дворянам Георгию и Амрану Зидхановым, сию грамоту за то, что «вы служили нам верою и правдою» и т. д. Александр, внук царя Вахтанга, пожаловал грамоту «царскому князю Махамату Зидханову в том, что отец и деды ваши служили отцам и дедам нашим самопожертвованием, отчего дом наш был всегда невредим» и т. д.

Приведенные грамоты грузинских царей, как жалованные последними еще до присоединения Грузии к России, дают неоспоримое право фамилии Хетагуровых, начиная от Зиды, пользоваться дворянским званием, а с Махамата — титулом князя. Однако ввиду запутанности дела о сословных правах туземцев Терской и Кубанской областей парцы Хетагуровы на свое семидесятилетнее (с 1829 г.) ходатайство о признании их дворянами все еще ожидают ответа, как и все другие претендующие на дворянство туземцы.

В Нарской котловине существуют следующие условия:

1. *Стыр*, или *тыхджын мыггаг* — большая, или сплывная фамилия.

2. *Фарсаг* (от *фарс* — бок, сторона) — находящийся с боку, живущий около, действующий заодно.

3. *Кавдасард* — рожденный в яслях.

4. *Алхад, саулаг, цагъайраг* — купленный, черный мужчина, сахарец.

Стыр мыггаг. Члены такой фамилии, будучи более обеспечены материально, одевались чище и богаче, располагали лучшим вооружением, пользовались в народе почетом. К ним обращались за советом, их приглашали судить и примирять враждующих. Поручительство их было надежно, покровительство прочно, ссориться с ними было опасно. Лучшие нивы, леса, луга и пастбища принадлежали им. Поселения их были неприступны, башни «литые» — из тесаного камня на известковом цементе. В набегах за перевалами главную и руководящую силу составляли они, и при дележе добычи львиная доля доставалась им. Кровь их ценилась выше иной. *Ирад* (калым) их девушек достигал высшего предела.

Фарсаг. Фамилии, носившие это звание, были малочисленнее и беднее первых, хотя общее число фарсагов составляло громадное большинство населения как Нарской котловины, так и всей Осетии. Поселения их не имели боевого расположения, земельная собственность их как по количеству, так и по качеству далеко уступала владениям сильных. Податей они, как и сильные, никому не платили и были фактически совершенно независимы. Находясь под покровительством сильных, они в тревожное время «*бсоба*» пользовались их поддержкой. Фарсаги, в свою очередь, оказывали услуги сильным во время их работ, в особенности при постройках башен, при столкновениях с другими сильными и в походах за перевалы.

Чем больше было у сильного рода покровительствуемых фарсагов и чем установившиеся между ними отношения были теснее и сердечнее, тем все они были лучше обеспечены от произвола и насилия других сильных фамилий, а также от посягательств на их независимость и имущество их из-за перевалов...

Кавдасард. Отец его зачастую был лучшим представителем сильной фамилии, но матерью его всегда была *номылус* — «жена по имени». Брались такие жены из тех же *кавдасард* или из очень бедных *фарсаг*. Число жен хотя и не было ограничено обычаем, но редко кто имел больше одной. По положению своему в семье *номылус* очень близко походила на наложницу, но не была с ней вполне тождественна в смысле большей свободы личности. При всякой возможности сделаться чьей-либо законной женой ее всегда отпускали и при этом, обыкновенно наделяя ее приданым, зачастую еще помогали и родным ее получить справить свадьбу.

Положение детей от *номылус*, помимо их оскорбительной клички — *кавдасард*, было вообще тяжелое. Они росли, выбиваясь из сил в непосильной работе. Девушка обыкновенно выходила замуж за такого же по происхождению молодого осетина, как сама, или становилась «женой по имени» какого-нибудь старика из сильной фамилии. Редко ей выпадало счастье-выйти за приглянувшегося ей молодого *фарсаг*, хотя бы и крайне бедного, но зато без обидной клички «*кавдасард*». Мальчик оставался в доме своего отца, рос, работал, мужал, и если после совершеннолетия находил для себя лучшим отделиться и жить самостоятельно, то это ему разрешалось беспрепятственно. Часть, которую, по обычаю, должны были ему выделить из общего имущества семьи, была так незначительна, что он обыкновенно предпочитал оставаться в доме отца или

до выделения ему большего пая, или даже до конца жизни.

В общественной жизни он не имел никакого значения. При всем том он пользовался полнейшей свободой.

Алхад, *саулаг* или *цагъайраг* был еще больше обижен судьбой. Приобретенный где-нибудь на стороне, купленный или похищенный ребенком или даже взрослым, взятый в плен во время набега в какое-нибудь отдаленное ущелье, всегда иной национальности, этот несчастный *алхад* делался жертвой полнейшего произвола своих хозяев, это был безусловный раб, которого можно продать, купить, убить и помиловать. Обычные названия — «саулаг», «алхад» или «цагъайраг» и «уацайраг» показывают на несомненно негритянское происхождение этих невольников. Есть, впрочем, в Осетии местности, где купленных называли «гурдзиаг» — грузин. Впрочем, во всей Осетии таких бесправных рабов можно было насчитать не более двух-трех десятков.

Жилище и утварь. Недостаток места и чувство самосохранения выработали здесь такое поразительное умение пользоваться каждым выступом, каждой впадиной скалы, что на плоскости горизонтального сечения аула, не превышающей 200—300 кв. саженей, нередко помещается 10—12 дымов со всем их движимым имуществом.

Постройки, за самым ничтожным исключением, все каменные, с плоскими крышами. Стены выведены из плитняка без цемента, если не считать щебня и земли, которыми заполнены щели. Редкое исключение составляют башни, выстроенные из тесаного камня на известковом растворе. Все постройки, в особенности башни, имеют вид усеченной пирамиды; это делается с целью большей устойчивости. Поверх стен положены балки, поддерживаемые центральным, а иногда и угло-

выми столбами; на балках положена настилка из кругляков и в очень редких случаях из пластин; на кругляках лежит хворост вперемешку с соломой и, наконец, слой земли, глины с мелким щебнем, который, при тщательной трамбовке, позволяет достигнуть полной гарантии построек от течи.

Плоскость крыши несколько ниже уровня стен; для стока воды в углах сделаны желобки. Наружной смазки нет; внутренние стены жилых помещений смазываются глиной с примесью свежего навоза. Двери низкие, неуклюжие, исключительно топорной работы, без участия пилы и рубанка и без железных частей в виде петель или гвоздей, замков и пр. Небольшое четырехугольное отверстие в стене, по возможности к солнечной стороне, с внутренней деревянной или каменной ставней для защиты от холода, заменяет световое окно. В крышах жилого помещения имеется еще и третье отверстие — дымовой проход, который на поверхности крыши окружен небольшим барьером, не позволяющим сточной воде попадать в это отверстие. Во время сильного дождя, большого холода и вьюги отверстие это отчасти или совсем прикрывается каменной плитой. Вот приблизительный тип постройки вообще в горной Осетии, а в частности и в Нарской котловине. В аулах вы не найдете ни улиц, ни дворов, не определите, какому хозяину принадлежит та или другая крыша или стена. Вы видите окошечко сакли, но без проводника не найдете ее дверей. Ярусы так перепутаны между владельцами, что вы, желая, положим, попасть к своему знакомому во второй этаж, можете предварительно очутиться на крыше третьего этажа, служащей двором для дяди вашего знакомого, или в нижнем этаже наткнуться на корову его двоюродного брата. Вы будете не раз карабкаться по скале, заменяющей лестницу, минуете

несколько темных проходов и очутитесь под каким-нибудь навесом в виде открытой галереи, высоко над бешено бушующим горным потоком. Здесь вы можете заметить на полу сбитуую из двух досок прокопченную ставню; ее легко приподнять, и из темного отверстия под нею, в густом облаке дыма, перед вами может появиться ваш знакомый.

Зайдите в первую попавшуюся дверь в *фарсаг-ауле*. Нагнитесь больше, чтобы не удариться о притолку. Сенцы перегороджепы жердями или плетнем. В первом отделении вас удивленно встречает корова, из второго на вас сквозь перегородку смотрит несколько пар добродушных глаз овец и коз. Здесь же, в углу, валяются плиты кизяка и хворост для топлива. Нагнитесь опять, чтобы войти в следующие двери. Вначале до того темно, что вы ничего не можете разглядеть... Единственное отверстие в южной стене по случаю дурной погоды заставлено не то камнем, не то доской... Кизячный дым ест глаза, раздражает слизистую оболочку в носу, стесняет дыхание.

Направляйтесь прямо к тлеющему огоньку, иначе вы можете набрести на тельца в правом углу или на постельные принадлежности в левом. Пока дойдешь до центрального столба, поддерживающего продольную балку крыши, зрачки ваши расширятся и вы свободнее можете ориентироваться. От столба до задней стены *хадзар* (сакля) делится очагом на две половины: левая мужская, правая женская. Первая с деревянной или каменной лавочкой вдоль стены, а вторая без всяких приспособлений для сидения. Пол очага выложен большими плитами, на которых, недалеко от центрального столба, параллельно задней стене, лежит длинный камень, замыкающий очаг со стороны входа. От дымового отверстия к очагу спускается железная цепь с плоской

скобкой на конце. Вся цепь покрыта густым слоем сажи; балки и кругляки в потолке блестят, как полированное черное дерево. Огонь в очаге поддерживается неугасасемо, пылающие угли на ночь зарываются в золу, и этим сохраняется в них горение до следующего утра. Очаг и цепь на нем составляют величайшую святыню каждого осетина.

Вся стена, замыкающая женскую половину, увешана мелкою утварью: деревянные чашки, блюда, ковши, ложки, воловьи рога, столик о трех низеньких ножках, каменная тонкая плита в железной оправе в виде стремени, небольшое с крышечкой деревянное ведерко и т. п. На полу вдоль той же стены расположены разной формы и размера медные котлы, глиняные кувшины, плетушки, выдолбленные из обрубков ясеня и березы корыта, ведра, кадушки и пр. На степе мужской половины вы найдете пашку, пистолет или ружье в старом чехле, турьи рога, а иногда и *фандыр* — музыкальный инструмент.

Существенное отличие жилищ сильных от прочих выражалось в том, что у них для лошадей, рогатого скота, овец и коз имелись конюшни, базы и овчарни, следовательно, их *хадзар* не был пропитан ароматом навоза. Кроме *хадзар*'а, у них были и другие более чистые помещения — *уат* с камином для жепатых членов семьи, а для гостей такой же конструкции *уазагдон*, убранный коврами и дорогим оружием. Нужды нет, что конюшни, хлев и овчарня помещались в нижнем этаже, *хадзар* в третьем, *уазагдон* и галерея в другом корпусе, а кладовая в пещере под башней. Зато все это прочно и недоступно для неприятеля. В *хадзар*'а и *уазагдон*'е вместо простой скамьи можно встретить своеобразные кровати, диваны и кресла с оригинальной резьбой. Утварь здесь многочисленнее, разнообразнее и ценнее,

здесь было больше золота, серебра, меди, железа и стали в виде громадных котлов для варки пива, холодного и огнестрельного оружия, кувшинов и т. д.

При особом доверии и расположении владелец сакли может показать вам несколько серебряных вещей: тяжелый кованый пояс, кубок, ковш, старинные монеты и тому подобная «*хазна*», доставшаяся его предку после набега на владения какого-нибудь грузинского князя. Но никакой дружбой вы не достигнете, чтобы он показал вам камень счастья — *цыкурайыфардыг* (буса изобилия и счастья), который он хранит, как говорится, за семью замками от всякого постороннего глаза. Это его неоценимое достояние и величайшая домашняя святыня, которую даже его семья имеет право созерцать с благоговением и с молитвенными приношениями только один раз в году. Камень этот, величиною от горошины до голубиноного яйца, имеет слегка желтоватый оттенок и небольшую прозрачность; он испускает в темноте довольно сильный фосфорический свет. Встречается очень редко и, по народному поверию, достается «счастливцу» с опасностью для жизни, так как добывается из зева самых ядовитых змей. Окружая целыми десятками «свою старшую сестру», которая держит во рту эту «бусу изобилия», они с ожесточением бросаются на всякого, кто пытается отнять у них это «сокровище». Змея эта, говорят, водится в Индии; охотясь по почам на насекомых, она держит во рту этот светящийся камешек.

У *тыхджын мыггаг* имелась фамильная башня в 5—7 ярусов, в которой могло при обороне от неприятеля укрыться все население аула с его утварью и жизненными припасами. В настоящее время в Нарской котловине, да и во всей Осетии, нет ни одной сохранившейся в целости башни; все они, по распоряжению русского

правительства, были разрушены в сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия.

Жилищем отделившегося от отца *кавдасард'*а на первое время служил обыкновенно какой-нибудь старый заброшенный хлев с единственным отверстием, замевпавшим и двери, и световое окно, и дымовой проход, с плетневой заслонкой на почь и от непогоды. Котелок, деревянное ведро, две-три деревянные чашки, плетенка для зерна и муки, топор, ремешь, коса и серп — вот приблизительно весь его ишвентарь.

Одежда. Ермолка из грубого сукна, из такого же сукна черкеска до колен с несколькими газырями, наде-тая прямо на голое тело, суконные штаны, такие же поговицы, кожаные *арчъита* (обувь) с ремешковым переплетом и пучком мягкой шелковистой травы вместо чулок; кинжал, шапка, винтовка и пика в 1,5 сажени длиной с железным заостренным наконечником — вот все одеяние и вооружение молодого джигита времен *бсоба*. Нагрудник, а тем более целая рубаха составляли роскошь очень немногих, которые надевали их только по большим праздникам, в торжественных случаях. Иногда у целой фамилии была всего одна рубаха или нагрудник; тогда пользовались ими по принятому порядку и даже давали их во временное пользование постороннему лицу в виде особенного одолжения. Бешмета теперешнего совсем не существовало; бурки были редки; короткий полушубок из овчин дополнял зимою паряд молодого осетина; длинные до самых пят и широкие тулупы были исключительной принадлежностью стариков. Наиболее бедные и зимою и летом ходили в тулупах, за неимением другой одежды.

Женщины одевались лучше: рубаха из бязи, синего или зеленого цвета, короткий бешмет из грузинской материи *сурма* и *лаина*, красные штаны из грубой *сила*

(тоже грузинской), черная повязка, из-под которой по щекам падали два выющихся локона, белый колоскоровый платок, чевяки из телячьей кожи и такой же передник до колен. Девушка вместо повязки носила шапочку из разноцветных лоскутков и ровно подстриженный чуб вместо локонов.

Траурный наряд женщины составляли длинная рубаха из грубого черного сукна и черный платок. Шелк и серебро встречались только в свадебных и очень редко в погребальных нарядах.

Пища. «Съешь за ужином целый *кардзын*, если у тебя на завтра остается еще полкардзына», — говорит осетинская поговорка, которую жители Нарской котловины охотно применяют в жизни. *Кардзын* — лепешка из ячменной, просяной или кукурузной муки, величиною с чайное блюдо, и до сих пор является главной пищей осетин. В Нарской котловине, как и вообще в горной Осетии, в силу климатических условий, употреблялся до позднейшего времени исключительно *кардзын* ячменный, или, как его принято называть, «твердый». Приготовление его самое примитивное: просяная мука разбавляется теплой водой с примесью небольшого количества соли; тесто тщательно мнется и сбивается в лепешки; последние подрумянивают на подогретой каменной плите (в железной оправе в виде стремени) и затем испекают в горячей золе. Такая лепешка с кусочком сыра или с чашкой сыворотки, хлебного кваса, а то и просто ключевой воды составляла обыкновенно обед и ужин взрослого осетина. Немаловажную роль в осетинской кухне времен *особа* играл и овес, из которого готовились три наиболее в народе популярные блюда: *бламыхъ*, *хомыс* и *къалуа*. Для изготовления этих яств овес предварительно варится в зерне, высушивается и идет в помол: мука просеивается

и поступает на стол как кушанье. В первом случае в одной половине деревянной чаши кладется мука, в другую наливают квас; чашка снабжается ложкой; каждому предоставляется полная свобода разбавлять *бланных* по своему вкусу. Комок липкого теста из тех же составных частей, предварительно мятый, идет в пищу под названием *хомыс*. Такое же тесто, только более густое, рассыпчатое, составляет третье блюдо — *къалуа*. Из ячменной солодовой муки пеклись лепешки под названием *задын*. Они на вкус несколько сладковаты, рыхлы, а главное, неудобоваримы. Пшеничные лепешки, пироги всевозможных сортов (с мясом, сыром, копченым салом и разною зеленью) были достоянием богатых. Бобы, горох, а позднее и картофель попадали в Нарскую котловину из Грузии и Южной Осетии и поступали в пищу в виде начинки пирога и приправы к *дзарна* (похлебка из ржанных, кукурузных и пшеничных зерен). Из этих же зерен приготавливали *цакуы*, поджаривая их в сухом виде в котелке или на плите. Похлебки со всевозможными приправами и различные виды киселя — *цымга* были в большом употреблении. Мясо появлялось только на свадьбах, поминках и в большие праздники. Поедалось оно с большой жадностью и без остатков, сколько бы его ни было. Редко кому удавалось заготовить себе на зиму лакомые копченки из необыкновенно вкусной здесь барапины, говядины и превосходной дичи (тур, олень, дикая коза, серна, лань). Чаще встречались подвешенными к потолку над очагом, завернутые в сальник, круги нетопленого сала и связки колбасы разной длины и толщины. Исключая мелких кур, в Нарской котловине не имелось другой домашней птицы. Яйца служили большим лакомством для детей. Огородов в Нарской котловине не было совсем; сады упоминались только в сказках. Дикорасту-

щая зелень в сыром и вареном виде, орехи, ягоды и коренья разнообразили пищу осетин. Дикий мед служил лакомой приправой блюд. Из напитков осетины с особым искусством готовили *пиво*, пользуясь дикорастущим хмелем, и *арак* — обыкновенную неочищенную водку в 20—30°, исключительно из ячменя. В двойной перегонке *арак* достигает до 60 и больше градусов и содержит незначительное количество сивушного масла.

Хозяйство. В Нарской котловине, как и во всей горной Осетии, до сих пор сохранилось только *частное землевладение*. Покосы, пастбища и леса находятся в безраздельном пользовании отдельных фамилий, а пашни составляют собственность исключительно подворную. Значительная высота местности над уровнем моря, большое падение склонов и почти полное отсутствие чернозема делают занятие хлебопашеством возможным только при необыкновенно тщательном уходе за землей. Несмотря на это, ни один клочок ее, где только может рядом пройти пара быков и хоть на 1,5 вершка врезается соха, не остается здесь праздным. Пашня ежегодно по несколько раз очищается от щебня, наносимого ливнями, тающим снегом и завалами, систематически удобряется навозом, и если есть какая-нибудь возможность, орошается искусственно. За отсутствием дорог и за полнейшей невозможностью, благодаря очень крутым подъемам, пользоваться телегой навоз в большинстве приходится доставлять из аулов на собственных спинах в особой плетенке — *таскъ*. Всходы стараются полоть не меньше двух-трех раз. Во избежание потравы, нивы, лежащие близ аулов, дорог и выгонов, обнесены каменной оградой. При всем этом рост хлебов редко достигает трех четвертей, а урожай его, если он успевает созреть, если его не прихватило морозом, не выжгло солнцем, не смыло ливнем или

шальным, разбушевавшимся потоком, если его не уничтожило, наконец, градом, — редко превышает сам-четыре. По окончании жатвы хлеб обыкновенно на санях (колес здесь раньше совсем не применяли, да и теперь редко встречающиеся здесь арбы могут двигаться только на очень ограниченном пространстве по долинам некоторых рек), а то просто волоком, на особых плетенках (в виде китайского веера, из березового хвороста — *махъи*), стягивался в снопах к аулу, на гумно, и здесь его немедленно молотили. Молотьба производилась посредством нескольких голов рогатого скота, которых привязывали в ряд по радиусу круга, занятого разбросанными снопами, и погоняли так, чтобы они описывали концентрические круги; самой смирной корове отводилось крайнее место у центра, а самому бойкому бычку приходилось скакать по окружности. Скот весь был снабжен намордниками, не позволявшими лакомиться добром хозяина. Погонщик — обыкновенно подросток — очень хорошо следил за своей рогатой командой и, вооруженный хворостиной и плетеным веером, не позволял нарушать порядка и наваживать хлеб, вовремя подставляя веер. Солома и мякина складывались для зимнего корма; зерно очищалось, проветривалось, просушивалось, сортировалось и ссыпалось в смазанные плетенки — *къуту*, которые заранее распределялись по периодам продовольствия семьи до будущего урожая и на посев. Вскрытие *къуту* не в срок могло быть только по самой крайней необходимости. Мельницы — *куырой* — горной Осетии поражают своей малостью и простотой конструкции. По внешнему виду они очень мало отличаются от деревенского курятника — низенькие до смешного двери и ни одного светового отверстия, если не считать многочисленных щелей в стенах, а иногда и в полу. Строятся они большею частью

в один постав, составляют собственность отдельной семьи, а чаще целого союза родственников. Верхний жернов толщиной в 1,5—2 вершка и около $\frac{3}{4}$ аршина в диаметре прикреплен к вертикальной оси, которая проходит сквозь нижний постав и под полом заканчивается чурбаком, к которому приделаны, в виде спиц, небольшие лопатки. Вода, сбегая по крутому, выдолбленному в бревне желобу, поступает в нижний этаж мельницы, ударяется о лопатки и приводит ось во вращательное движение. Ось поддерживается рычагом, который посредством ручки, идущей от него через пол в верхнее отделение, по мере надобности опускается или приподнимается, позволяя таким образом получать мелкую или крупную муку. Падение зерна из висячей конусообразной плетенки производится посредством деревянного молотка, приводимого в сотрясение движением верхнего жернова и передающего это сотрясение желобку, которым оканчивается устье плетенки. Приведение желобка посредством приспособленного для этого шнура в более или менее наклонное положение регулирует силу падения зерна.

Покос и доставка сена сопряжены с еще большими неудобствами. В Нарской котловине многие косят на таких крутизнах, что при всей ловкости и умении осетин держаться на них, косарю зачастую приходится прибегать к помощи веревки. Ведерко его для воды непременно снабжено ремешком с колышком, который при надобности вбивается в землю и таким образом удерживает его от падения в пропасть. Коса осетинская косит на обе стороны. Тщательно сгребая каждую былинку вилами и граблями, все сено сначала собирают в маленькие кучки для окончательной просушки. Небольшое ненастье — и от них очень часто не остается следа; мелкое шелковистое сено, как пух, разносится

ветром по ущелью. Приходится как можно поспешнее складывать его в копны. Для этого заранее нужно приготовить необходимое количество *махты* — всевозможных плетенок из березового хвороста. Плетенки доставляются на место покоса людьми на спинах, причем один взрослый рабочий может поднять зараз только 3—4 плетенки. На этих плетенках сено складывают небольшими копнами, скрепляя их свитыми из того же сена канатами. Если позволяет местность, то копны по возможности скорее стягиваются волоком на дно ущелья, откуда уже доставляются в аул на санях волами. При менее благоприятной местности, когда путь по дну ущелья не представляет соответствующих удобств, тогда плетенки с копнами располагаются группами на безопасных от снежных завалов местах, на гребнях ложбин, и там оставляются до зимы. После нескольких завалов, когда дно ущелья заполняется сплошь глубоким и плотным слоем снега, когда скат в ущелье принимает совершенно гладкую спешную поверхность, осетины задолго до рассвета выходят из аула и, местами прибегая к помощи плетеных лыж, шестов и посохов с железными наконечниками, с большим искусством добираются до места расположения копен, покрытых уже зачастую таким глубоким снегом, что никакой опытный глаз не определит их присутствие под поверхностью снега. Их приходится разыскивать шестом, и достаточно, конечно, найти одну копну, чтобы по известному их числу и расположению легко отыскать остальные (располагаются они всегда правильными рядами). Каждый ряд копен в 8—10 дружной работой лопатами совершенно высвобождается из-под снега, сдвигается несколько ниже по направлению спуска и прочно сцепляется ремнями. Затем к каждому ряду становится по два человека, которые стягивают копна к спуску. Как только копны

начинают двигаться своею тяжестью, один из них вскакивает на вторую от начала копну, а другой на предпоследнюю, и импровизированный поезд с быстротой молнии несется в бездну ущелья. Такая работа не обходится, конечно, без несчастий. Чаще всего достается второму «кондуктору», которому необходимо иметь большую ловкость, чтобы вовремя и удачно вскочить на свою копну, которая в это время стремительно мчится мимо него. В том случае, если снега не везде достаточно и не все переправы сглажены надлежащим образом, приходится прибегать к помощи саней. В первом случае к каждой плетенке с копной припрягается по одному волю.

Особенно жестоким бичом для горной Осетии являются снеговые завалы. Сколько потрясающих рассказов существует о них в народе, сколько несчастных случаев, повторяющихся из года в год!

Во многих аулах после выпадения снега и в ожидании завала прекращается иногда на целую неделю всякое сообщение с другими аулами, скотину перестают выгонять на водопой, для нее приходится оттаивать в котлах снег. Есть аулы в горной Осетии, жители которых в продолжение зимних месяцев совершенно не отлучаются из своих жилищ. Несмотря на такую осторожность, страшная стихия ни одну зиму не обходится без человеческих жертв. Жертвою завалов делались неоднократно целые аулы со всеми постройками и движимым имуществом¹.

¹ В конце 50-х годов в Нарской котловине был снесен завалом самый большой аул Джинат; погибло свыше 40 семейств. Завал прошел ночью, и на том месте, где стоял аул, наутро осталось только большое черное пятно обнаженной земли. Уцелела только одна семья — старик и старуха, и то благодаря тому, что спали под скалой. (Прим. автора.)

При описанных обстоятельствах в Нарской котловине немислимо, конечно, заниматься *скотоводством* в широких размерах. Лошадь, пара малорослых быков, столько же мелких коров, несколько десятков овец и коз составляют крупное хозяйство. Большая же часть жителей имеет не более двух голов рогатой скотины и несколько коз. Осетины, имеющие только по одному быку, вступают между собой в товарищества — *цадамбал* на время производства работ, а не имеющий совсем рабочей скотины возмещает прокат пары быков с сохой или с саями каким-нибудь личным трудом; впрочем, безвозмездное пользование чужой рабочей скотиной и хозяйственными орудиями было прежде в обычае. Всю долгую зиму скотина питается тощим кормом — соломой с примесью сена.

Если оттепель обнажает южные склоны гор, то овцы и козы пользуются подножным кормом и тем дают возможность рассчитывать на благополучный исход зимы для всей скотины. С падением последних завалов, самых опасных и разрушительных, сдирающих при стремительном сползании верхние покровы горных скатов, устанавливается уже более правильное пользование подножным кормом. В каждом ауле или даже совместно в нескольких нанимаются на все лето два мальчика-пастушка 11—12 лет, которые ранним утром отправляются со своими стадами на общие фамильные пастбища. Кормятся и ночуют пастушки поочередно у всех хозяев.

Навоз из-под крупной скотины приберегается для удобрения, а из-под мелкой — на топливо в виде плиток кизяка.

Из молока с начала лета приготавливают известный осетинский сыр, а осенью — сбивают масло, которое сейчас же растапливается, сливается и хранится в гли-

няной посуде. Сыворотка поступает в пищу и в рассол для хранения сыра, а сыр и масло по возможности стараются расходовать так, чтобы их хватило до великого поста. Для масленичной недели сохраняется особая порция этих продуктов, которая ни в каком случае не может быть расходована раньше времени.

Овечья шерсть и козий пух идут на приготовление сукна; овчина — на шубы; козловая и телячья шкуры поступают на приготовление мешков, бурдюков, женских передников и чувак; воловья — на ремни и мужскую обувь.

Лошадь была прежде роскошью. Она применялась только для верховой езды и перевозки вьюков. Ни мясом, ни молоком, ни кожей ее не пользовались. Осел встречается редко. Не в большом авантаже и свинья, которая также встречается редко и держится всегда на привязи; только под Новый год почему-то предпочиталось заколоть, вместо барана, свинью; к этому времени каждый старался получше откормить свою свинью. Из домашней птицы в Нарской котловине, как я уже говорил, встречались только мелкие куры, и то в ограниченном количестве.

Детство. Несмотря на то что отец и мать мои принадлежали к «сильным» и «большим» фамилиям в Нарской котловине, а отец, помимо того, был офицером русской службы, я все-таки родился в «яслях», в хлеве. И навряд ли во всей Нарской котловине найдется кто-либо, кто до меня, да и много позднее меня, родился не в хлеве. Объясняется это тем, что в Нарской котловине времен *босо* совершенно не было другого более удобного, изолированного помещения для этого величайшего акта природы. За несколько недель до родов женщина, хотя не всегда, освобождается

от тяжелых работ, а в период ожидания совершенно отделяется от семьи. В наиболее уютном и чистом хлеве разводятся огонь и делаются необходимые приготовления. Приглашается опытная бабка и устанавливается постоянное дежурство из взрослых девушек и женщин — родственниц роженицы.

Весть о появлении на свет ребенка мужского пола встречается в семье и всеми родными с величайшей радостью. Со всех сторон являются с поздравлениями, и радостное событие обыкновенно сопровождается пиршеством. Мальчики-подростки иногда целые зимние ночи дрогнут у дверей хлева, чтобы перехватить первую весть о рождении мальчика и первыми же явиться с нею к ближайшим родственникам новорожденного и получить подарок за первое известие о «рождении хорошего мужчины» (*хорзлаггураггаг*). Рождение девочки встречается далеко не так радостно и, конечно, без раздачи подарков. Через неделю после родов больную обыкновенно переводят в *хадзар* и укладывают в угол у входа.

Там она лежит до полного выздоровления. К тому же времени делаются приготовления «к укладке ребенка в колыбель»¹ и приобщению роженицы к очагу — эти обряды были чисто женским праздником. Мужчины, обыкновенно молодежь, принимали в нем только то участие, что предоставляли на выбор матери несколько придуманных ими имен для новорожденного

¹ Осетинская колыбель представляет из себя деревянную с перилами кроватку на поперечных полозьях в виде поволукия, на которых ее и покачивают с боку на бок. Посреди нижней доски кроватки имеется отверстие для костяной трубки, идущей сквозь постель. Это приспособление дает возможность ребенку мочиться, не подвергаясь частым пеленаниям. (*Прим. автора.*)

мальчика, за что им высылалось на двор небольшое угощение.

В начале июля каждая семья, которая в продолжение года имела приращение мужского пола, считает своей обязанностью отпраздновать обильно и угостить наибольшее число родственников и соседей, это называется «справлять миску» (*каццганан*). Название такое праздник этот получил, вероятно, потому, что мать новорожденного обходила всех своих по отцу и по матери родственников с чашей (миской), собирая всевозможные подарки и припасы для этого праздника.

Если мать занята и не может покормить и унять своего ребенка, то предоставляется всем, кому угодно, возиться с ним, покачать колыбель, поддержать малютку на руках и пр. Лишает этого права осетинский этикет только отца малютки. Только в самом интимном кругу (жены и детей), или с глазу на глаз, позволительно отцу дать волю своим чувствам и понянчить, приласкать детей. Если осетина-отца в прежние времена случайно заставляли с ребенком на руках, то он не задумывался бросить малютку куда попало. Боязнь быть заподозренным в неумении скрывать своей любви к детям доходила до того, что многие отцы не произносили никогда даже их имен. С моим отцом, когда он был еще ребенком, случилось следующее. На крыше четырехэтажного здания мать оставила его под присмотром отца. Ребенок, переползая с места на место, очутился у самого края крыши. Еще момент — и он теряет равновесие. Дед, однако, успел наступить ему на рубашонку, и мальчик повис над пропастью. Пока на крик ребенка не сбежались заметившие эту сцену соседи и не подняли его, верный традициям, дед стоял как вкопанный и не сделал ни одного движения,

чтобы освободить своего первенца от опасного положения. Я не помню, чтобы отец назвал меня когда-нибудь по имени. Говоря обо мне, он всегда выражался так: где наш сын? не видал ли кто нашего мальчика?

Росли дети в громадном большинстве случаев грязными, полунагими, полуголодными. Девочек из хорошей семьи сватали очень часто в колыбели. Дети, конечно, об этом ничего не знали до времени и росли беспечно до 8—9-летнего возраста, когда мальчику поручали пасти ягнят, а девочке нянчить грудных детей и помогать по хозяйству матери.

В 13—14 лет мальчик становился помощником отца во всех отраслях хозяйства, а к 16 годам свободно управлял сохой, владел топором, серпом и косой. С этих же лет он делался «взрослым», с правом голоса, членом семьи; с этого возраста он мог вступить и в брак.

Девочка до 13—14 лет тоже должна была пройти всю незамысловатую школу домашнего хозяйства и женского рукоделия, чтобы стать женою своего суженого.

Счастливая пора детства сокращена была здесь до минимума и лишена к тому же и сколько-нибудь интересных игр и развлечений. Кроме неизменной, кажется, у всех народов, куклы — *чындз* (пестика), девушки могли развлекаться еще чуть ли не единственной женской игрой в пять камешков — *дыччыта*. Игра ведется на полу, сидя, одной рукой, и состоит в раскладывании и схватывании четырех камешков в те небольшие промежутки времени, пока подброшенный пятый камешек не пойман той же рукой. Прodelав это при различных расположениях камешков, игрок пере-

кладывает все пять камешков на верхнюю поверхность кисти той же руки, а затем обратно в ладонь; число схваченных ладонью камешков заносится в счет выигранных очков.

Для забавы в присутствии юноши, от которого хотят якобы скрыть содержание беседы, у девушек припят свой, так называемый «девичий язык» — *чызджы-ты'ваз*, отличающийся от обычной речи тем, что к каждой согласной букве прибавляется гласная или некоторые слоги повторяются по два раза.

Мальчики располагают большим разнообразием игр и развлечений: сошки, чиж, лук, метанья камня пращом, бег, катанье на коньках, борьба, купанье, рыбная ловля, устройство капканов для ловли воробьев и т. п.

Танцами наши предки занимались, видимо, не особенно охотно, так как дошедшие до нас виды этого развлечения очень несложны; они были скорее выражением экстаза пирующих мужчин, чем развлечением молодежи. Девушки танцевали очень редко, а женщины совершенно не принимали участия в танцах, исключая разве расхोдившейся на свадьбе своего внука старушки.

Пение также было достоянием главным образом взрослого поколения, и притом мужского. Это положение могло бы быть даже правилом без исключения, если б его не нарушали юные 11—12-летние пастушки. Эти крошки, уходя с раннего утра за своим послушным стадом в горы, поднимаясь с ним по крутым скатам, карабкаясь по грудам скал, огибая повисшие над бездной утесы, ползая, как муравьи, над черной пропастью и, наконец, сладко разваливаясь на самом гребне горных высот, не могли, конечно, в этом постоянном одиночестве и созерцании величия и красот окружающей

природы избежать могучих чар поэзии. Немногосложные, но полные неизъяснимой прелести переливы звонкого детского голоса далеко разносятся по чистому упительному воздуху, пробуждая далекое эхо и теряясь в тысячеголосом шуме водопада, затерявшегося во мгле глубокого ущелья. С приближением к аулу юный певец замолкает, и уже никакая радость не может заставить его повторить свою любимую песнь при взрослых слушателях. Обычай не позволяет петь девушкам и женщинам. Требование это нарушается, однако, вдали от жилья, где-нибудь на мельнице, в лесу, за сбором ягод, орехов, кореньев и пр.; в полном уединении от мужчин, в своей исключительно женской компании, расходившиеся на свободе молодые осетинки очень охотно отдаются этому развлечению. Надо заметить, что девушка, даже при этих обстоятельствах, не принимает в нем участия. Песни так же, как танцы, очень ограничены по числу, разнообразию мотивов и содержанию.

Сказки составляют достояние обоих полов и всех возрастов. Они многочисленны, разнообразны и художественны: они всегда служили одним из самых приятных времяпрепровождений.

Игра на двух- и двенадцатиструнном *фандыр* (род скрипки и арфы) и длинные повествования под их аккомпанемент были исключительной привилегией наиболее даровитых мужчин. Эта отрасль народного творчества особенно любима и полна прелести.

Ирад (калым). Прежде чем приступить к описанию интереснейшего обряда в осетинской жизни, я постараюсь изложить обстоятельства, сопровождающие сватовство.

Ирад является мерилом достоинства крови. Раз установленный, его нельзя изменить произвольно. При-

нимая за единицу ценности корову, размеры *ирад'*а в Нарской котловине распределяются так: Хетагуровы (Зидахановы, Мамиевы, Бырнацевы, Дзанаевы и Джиеовы), Цуциевы, Губаевы и Саутиевы брали по сто коров с следующим непременно условием: двадцать коров выплачиваются коровами, пятьдесят шесть чем попало — пашнями, медью, оружием, скотиной и пр. — по оценке выборных. Бык идет за две коровы, а пять баранов за одну. По ценности остальных двадцати четырех коров следует дать что-либо определенное — ниву, ружье или медный котел; последний должен весить 24 литра (литр = 9 фунтам <?>). Последняя категория носит специальное название: *сар* (голова).

Ирад остальных фамилий не ниже 25 и не выше 30 коров.

Нет сомнения, что ни одна семья не в состоянии сразу уплатить *ирад* в 100 коров. Его выплачивают со дня сватовства и до самой свадьбы.

Жених и невеста. В 7—8-летнем возрасте жених может сделать первый визит в дом своей невесты.

Сопровождают его обыкновенно несколько сверстников-друзей и кто-нибудь из неблизких родственников; идет он не с пустыми руками, а с бурдюком *арак'*а, бараном и шестью пшеничными хлебами, из которых три должны быть величиною с жернов осетинской мельницы ($\frac{3}{4}$ или целый аршин в диаметре). Кроме того, специально предназначены подарки: невесте шелковый грузинский платок и материя на платье, матери ее тоже что-нибудь на платье.

Так как визитеры являются поздно вечером, то предупрежденные хозяева встречают их с зажженными факелами, любезно приглашают в *хадзар*, сзывают родню и пируют всю ночь. Смущенный жених выставляет все это время в сених с двумя-тремя сверстни-

ками, краснея от острот и замечаний молодых женщин и девушек, родственниц его невесты, которую, конечно, он не имеет удовольствия видеть между ними. Таков осетинский *сгарст* (посещение).

С этого дня жених остается в доме невесты от двух до четырех недель, где за ним ухаживают, как за родным сыном. Шьют ему шапку, черкеску, ноговицы и чувяки. Во время своего пребывания в доме тестя жених должен во всей полноте обнаружить все свои достоинства, — ловкость, вежливость, словом, все, что нужно для того, чтобы произвести самое лучшее впечатление. Услуживая всем и во всем, он никогда не садится при старших. Стоя у дверей *хадзар'*а, он всецело занят тем, чтобы предупредить малейшее желание членов семьи, особенно стариков. Ложась позже всех, он утром раньше всех на ногах. Ночует он обыкновенно с братом и родственником невесты, летом где-нибудь на крыше, в галерее, а зимою в башне, если другого свободного помещения не имеется.

За ним больше всех ухаживают женщины, а в особенности будущая теща, благодаря чему он и ест сытнее, и лакомится вкуснее других. В обществе женщин он развязен, подходит ближе к очагу и даже садится. Молодые женщины и девушки, в отсутствии тещи, устраивают ему свидание с невестой, не предупреждая ни ее, ни его. Иногда его зазывают туда, где невеста, не подозревая его близости и замысла подруг, сидит за шитьем.

После *сгарст* жених может ходить в дом тестя когда угодно, хотя частые посещения и долгие пребывания там не в правилах хорошего тона.

Приближается осень, наступает ноябрь, — начинаются приготовления к свадьбе. За неделю до свадьбы

невесте готовят наряд: длинный бешмет, рубаху, платье, застежки на груди и на рукавах, пояс, серьги, шапочку из красного сукна, отделанную галуном, шелковый платок поверх шапочки, красные штаны, чулки и чупаки. Стоимость наряда зависит, конечно, от состоятельности родителей невесты. Прикрыв голову и лицо куском красного сукна, невеста в сопровождении родственницы целую неделю обходит аулы. По красному сукну на голове не трудно узнать девушку накануне вступления ее в новую жизнь. Каждый делает ей посильный подарок с лучшими пожеланиями. Наконец наступает день свадьбы.

Свадьба. Прежде всего посылают гонца в дом родителей жениха с покорнейшей просьбой «осчастливить сегодняшний вечер своим посещением». Это простая формальность; гонец, исполнивший поручение тестя, получает какую-нибудь награду.

Сопровождают жениха человек 10—12 от 20 до 40-летнего возраста, во главе с отцом жениха или ближайшим родственником. Сколько трудов и просьб стоит жениху набрать этих дружков. Чуть ли не за год он начинает комплектовать их. Происходит это потому, что, зная, какое «сражение» его ожидает на свадьбе, не всякий надеется на свои силы.

Вся родня невесты к 8 часам вечера уже в сборе. Старейшие из них ожидают гостей в *хадзар*'е, а другие их приветствуют с пылающими факелами. Гости устраиваются в ряд по старшинству и, весело отвечая на приветствия хозяев, принимают подносимый им наполненный *арак*'ом рог, молятся о счастливом исходе и до дна осушают чашу за благополучное прибытие. Затем их приглашают в *хадзар*. Не нарушая порядка и ободряя друг друга, они входят и приветствуют стариков,

усаживаясь по возрасту и беседуя о злобах дня; молодежь говорит только шенотом.

Первое место занимает старший из родственников невесты, вторым сидит старший из гостей и дальше только посторонние гости, все же родственники невесты стоят, а молодежь прислуживает. Общество жениха в сенях составляют два-три парня.

Перед гостями ставятся круглые столы, на каждом из них по три прожаренных в масле пирога с сыром (*уалибах*), к ним подаются шампуры (вертелы) с шашлыком из внутренностей бычка и барашка. Шампуры раздают сначала старшим; самому старшему подают вместе с шампуром и рог с *арак'*ом. Все встают. Наступает молчание, и старческий голос мерно и отчетливо произносит молитву.

После каждой его фразы раздается хором: «*оммен, оммен, хуыцау!*» (аминь, аминь, господи!) Следующий произносит более краткую молитву, третий старается быть еще скромнее. Шашлыки разрезаются на столах. Кусок его с пирогом и полным рогом посылается в сени жениху. Все садятся за трапезу. Второй рог старик принимает уже сидя; после краткой молитвы св. Георгию-победоносцу старик просит передать рог самому младшему из гостей. Тот встает и, приняв рог с благодарностью, делает из него один глоток и возвращает прислуживающему, который затем обносит от младших к старшим. После еще одного-двух тостов происходит перерыв, довольно продолжительный, а затем садятся в том же порядке. На длинных низких столах разложены разные яства, главным образом вареное мясо, причем лучшие куски кладутся перед старшими. Начинаются опять тосты, дальше появляется турий рог с пивом, начинается пиршество. Вся цель хозяев — сподать гостей; последние должны вы-

держат такую атаку, не проявляя опьянения. Раздаются песни, тосты проходят под веселый мотив с дружеским хлопанием в ладоши.

Пир близок к концу; уже за полночь, тосты идут двойные и тройные — турий рог с одним воловьим рогом и турий рог с двумя воловьими рогами; в последнем случае турий рог помещается под мышкой левой руки, — выпивают сначала *арак*, а за ним пиво — всё под веселый напев с дружным хлопанием в ладоши. Доходило даже до 4 рогов — два «тура» под мышками и по «быку» в каждой руке... К часу ночи получается какой-то хаос.

Шум, пляска и игры не прекращаются. На женской половине не весела только одна невеста, — все происходящее вокруг нее кажется ей сном, видением.

Между тем хозяин одолел гостей и их всех уложил спать... Спят долго... Завтрак уже готов, а из гостей многие еще не просыпались, пришлось растолкать их...

— Ну, что вы нам принесли в мешке? — весело встречает их хозяин.

Те достают мешок со всякого рода подарками, передают его хозяину и затем так же весело сами спрашивают его: а где же наша доля? Пора и ее завернуть. Выносят все приданое невесты, бешмет и черкеску для отца жениха, длинный женский бешмет для свекрови, штуку белого сукна, локтей 18—20 — гостям на поговицы, от 8 до 12 бешметов мужских и женских для родни жениха, целую кожу — гостям на обувь и множество мелких вещей — тесемки, галуны, кисти и т. д. Очень часто из подарков, принесенных гостями в мешке, некоторые возвращаются и попадают в приданое. Окончив это, гости отправляются завтракать.

Затем из женского отделения удаляют всех, исключая невесты и двух пожилых женщин, которые чуть не волоком тащат туда жениха и сажают его рядом с невестой. Перед ними ставят столик с тремя пирогами, которые должны быть съедены исключительно женихом и невестой. Картина в высшей степени комичная, если принять во внимание, что жена и муж за всю свою жизнь только в этом случае садятся за один стол.

Затем шафер — *къухылхацаг* (руководящий невестой) встает из-за стола. Несмотря на просьбы хозяев, он оставляет пирующих и отправляется на «женскую половину». Недружелюбно встречают его здесь, толкают, бьют и не подпускают к невесте, чтобы промедлить хоть лишнего полчаса. Он просит взятку, — ему дают какую-нибудь безделушку. Но вот проходит и этот срок, шафер встает и уже не соглашается ни на какие сделки. Начинаются долгие прощальные объятия (целоваться не принято), невеста дает полную волю слезам, плачут и другие.

Шафер начинает освобождать «свою сестру» из объятий подруг и родственников. Установив порядок, он обнажает пашку и берет правую руку невесты... Сотни самых искренних пожеланий и горячих молитв приветствуют со всех сторон. Невеста спускает свой платок, а любимая подруга накрывает ее голову поверх платка красным сукном.

Шафер делает пашкой знак, — все расступаются и дают дорогу «брату и сестре».

— *Фарн фацауы!* (мир, благодать грядет к вам!) — возвещает шафер в дверях *хадзар'* а.

Шафер ведет невесту вдоль правой стороны очага и ставит ее в угол. Все снова садятся, и возобновляются тосты.

— Ну что же, тестюшка, — обращается шафер к отцу невесты, — в чем твоя дочь станет греть воду, чтобы мыть себе голову?

Медный котел подается в ответ на вопрос шафера. Зятю своему тесть делает более ценный подарок — ружье или пашку. Затем шафер подходит к невесте и обнажает пашку. Все встают. С молитвой на устах шафер обводит невесту три раза вокруг очага, ударяя пашкой при каждом обходе в висящую над очагом цепь. Невеста, обходя с ним вокруг очага, делает приседание, очень похожее на реверанс. Затем при громких пожеланиях всех присутствующих шафер с невестой выходят из *хадзар*'а и при ружейных выстрелах оставляют аул. Жених тем временем уже далеко впереди. Но перед тем как шафер оканчивает обряд обхода очага, молодежь в сенях бросается на жениха и бьет его чем попало. Защищая главным образом голову, он кое-как освобождается от толпы и, избитый иногда до синяков, убегает в дом своего шафера, который также не гарантирован от тумачков. Столы еще не убраны, а вставать из-за стола раньше старших считается неприличным. Надо «подкупить прислуживающих», — каждый гость в этом случае считает своей обязанностью положить какую-нибудь вещь на стол (огниво, нож, пули, порох и т. д.). От стариков не принимается ничего. Удовлетворенная таким порядком, прислуживающая молодежь освобождает наконец своих гостей. Выпив еще по одному ругу во имя покровителя путников св. Георгия-победоносца, гости догоняют шафера с невестой. Невесту, кроме дружков, сопровождает какая-нибудь пожилая родственница или ее *кавдасард*, чтобы прислуживать ей в первое время.

Если невесту ведут мимо другого аула, то жители

его, желая почтить «свадебный поезд», открывают пальбу из ружей. Приближаясь к своему аулу, дружки возвещают о себе выстрелами, на которые из аула отвечают более продолжительной и усиленной пальбой. С знакомым уже читателю возгласом шафер вводит молодую в новую семью. *Хадзар* тем временем уже полон народом. Шафер с известными уже приемами обводит три раза вокруг очага молодую, потом подводит ее к свекрови; молодая низко кланяется и смазывает маслом чужаки старухи, которая, в свою очередь, посыпает ей поверх сукна голову порошком солода. Делается это в знак безграничной покорности со стороны молодой и в знак пожелания сладкой жизни со стороны свекрови. По окончании этого обряда молодую ставят в угол и дают ей взять на руки ребенка-мальчика, которому за это полагается особый подарок. Затем шафер уводит «сестру» в приготовленный для нее *уат*, в исключительно женское общество. Так же закрытая, безмолвная, стоит она в углу, на войлоке, и слушает несмолкаемый шум, говор и беззаботный смех своих новых родственниц, подруг и соседок, не принимая участия ни в пляске, ни в разговорах, ни в шалостях своих однолеток. Шафер возвращается в *хадзар*. Все присутствующие, не исключая старух и стариков, становятся в круг, берутся под руки и начинают танец вокруг очага с песней и припевом «ой-алай», хлопаньем в ладоши и в доску. Пляшущие доходят до такого экстаза, что стреляют в потолок и всячески стараются выразить свою радость. Затем все, исключая молодежь, занимают соответствующие возрасту места. Появляются столики, пироги, мясо, *арак*, пиво; между прочим и шесть пирогов, — три больших и три поменьше, — которые были принесены от тестя. Во время

обеда парни силою приводят жениха и, втащив его в сени, посылают депутатов к старикам с требованием выкупа за пленника; им высылают порцию *арак'*а и съедобного; освобожденный жених убегает к шафёру.

Вечером шафёр снова вводит молодую в *хадзар*; к головному убору присоединяется еще кусок коленкора между сукном и платком; шафёр снимает красное сукно и передает его свекрови, затем обнаженной пашкой снимает коленкор и вешает его в углу, где висят такие же куски коленкора от прежних свадеб. С этой вешалки его уже не снимает никто никогда. После этого шафёр опять уводит свою «сестру» в ее помещение, где она остается до ужина. Во время ужина она уже не стоит в углу, а держится поодаль, как младшая в семье, и не прислуживает. В эту же ночь, как осторожный вор, пробирается жених к своей брачной постели.

Семейная и общественная жизнь. Итак, перед нами 14-летняя женщина; вместо чуба у нее уже два локона; вместо шапочки платок, и повязан он так, что, кроме глаз и носа, ничего не видно. Никто не слышит ее голоса, никто не видит ее сидящей. Встает она раньше всех, везде подметет, уберет, всем прислуживает, ест наскоро и позже всех, ложится спать позже всех.

В продолжение двух месяцев она не показывается нигде в ауле. Первый выход ее носит праздничный характер. К ней собираются девушки и молодые женщины, с которыми она отправляется по воду с небольшим деревянным ведерочком или с кувшином. На берегу шумящего горного потока они устраивают пляски, в которых молодая не принимает участия.

С этого дня она уже свободно исполняет все свои

обязанности вне дома. На ее плечах все заботы о семье у домашнего очага, она должна всех обшить, напоить и накормить. Она полновластная хозяйка всех съестных продуктов и напитков. Мужчина почти гость в доме, он ей доставляет дрова, смотрит за скотиною и пр., но он, как гость, и ест плотнее, и ложится раньше, и встает позже; жена, пока не снимет обуви у мужа, никогда не ляжет спать.

Зато все работы вне домашнего очага почти всецело лежат на обязанности мужчины. Женщина помогает ему в доставке навоза на пашни и плетенок на сенокос; полоть и жать — это их общий труд. Исключая платья, женщина не имеет никакой собственности; ни от отца, ни от мужа ничто не переходит к ней по наследству. Она трудится ради того, чтобы ее кормили, одевали и по смерти похоронили в установленном обряде. Все это делает отец, пока она девушка, по выходе замуж это ложится на мужа, в случае его смерти — на детей, а если их нет, то опять на отца и братьев ее.

При разводе по вине жены отец ее возвращает весь *ирад* да еще в виде неустойки известное число коров; если же развод состоялся по вине мужа, то ему возвращается только часть *ирад'* а в размере от 54 до 126 коров. Дети безусловно принадлежат мужу, даже ребенок, родившийся в первый год после развода, отбирается мужем. Развод считается окончательным только тогда, когда муж сделает выстрел из ружья и пригласит всех слышавших этот выстрел свидетелями. К счастью, такие случаи очень редки.

Овдовевшей женщине предоставляется следующий выбор: она могла всю жизнь оставаться вдовой и не покидать семью покойного мужа; могла сделаться женой его брата и, следовательно, опять оставаться в той

же семье, могла, наконец, выйти опять замуж за другого, хотя *ирад* за вдову был гораздо меньше. На первое она соглашается, когда у нее были дети мужского пола. На второе, если брат мужа холостой или вдов; если же она выбирает последнее, то покидает дом родных мужа и расстается с детьми, которые признаются безусловной неотъемлемостью фамилии.

Матери, оставшейся жить с сыновьями, предоставлялась на случай раздела полная свобода выбора любого из сыновей. Часть, которую сыновья выделяли на ее похороны, передавали выбранному ею брату, и тогда его нравственной обязанностью было кормить и одевать ее, а на случай смерти предать ее земле по установленному обряду.

Крайний недостаток земли, вызывая нескончаемую ожесточенную борьбу за существование, ставит в необходимость фамилию не раздроблять имущества по женской линии.

В случае раздела пайщиками были только братья; племянники, если отец их жив, не получали ничего, а если он умер и они хотят отделиться от дяди, то получают только один пай, хотя бы их было пятеро. *Хадзар*, одна пашня, один бык, одна корова и десять овец переходят по праву старшинства к старшему брату помимо пая; только юноша-племянник получал некоторую долю в уплату калыма. Пока отец жив, сыновья его не смеют и мечтать о разделе. Вот почему в Осетии времен *бсоба* часто встречались семейства в двадцать пять — тридцать душ. Патриархальность была полнейшая, уважение к седшине, покорность старшим и беспрекословное исполнение их воли — вот их основы семейной жизни.

«Лошадь, ружье и молодая жена требуют ухода», — гласит осетинская поговорка.

Если от молодой женщины вежливость требует уступать дорогу мужчине, вставать при его появлении и не садиться в его присутствии, то тем более от молодого осетина она требует того же по отношению к старшей, чем он, женщине. Если появление старика везде и всюду поднимает на ноги сидящую толпу, то тем более эта толпа обязана встать при виде старухи. До каких бы пределов ни дошло опьянение пирующих мужчин, как бы развязно ни вела себя компания молодежи, как бы сильно ни было ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся, — одно появление женщины обуздывает буянов, останавливает и прекращает кровопролитие. Двусмысленное слово в присутствии женщин, неосторожное движение во время танцев, непристойная развязность с девушкой вооружают против провинившегося всю молодежь. Если удастся убийце прокрасться к матери убитого и надеть на себя ее платок, тогда уж никто из родственников покойного не имеет права мстить ему — он признан братом им же убитого. В осетинском народном праве времен *бсоба* даже не было предусмотрено похищение девушки и изнасилование.

Женщина пользуется большим почетом, чем мужчина; если они вдвоем идут рядом, то женщина идет справа; если с нею двое мужчин, то она идет между ними. У всех северокавказских туземцев место, которое в этом случае занимает женщина, принадлежит, как самое почетное, старшему из них.

Всякий осетин и вообще горец, не нарушая правил гостеприимства, принимает путешественника очень любезно и по мере сил и возможности сделает все, чтобы только угодить ему. Но вместе с тем он всячески старается, чтобы никто не заглянул в сферу его семейного и общественного быта.

«Гость — божий гость», — говорят осетины. И действительно, при наших путях сообщения и всеместном разбое попасть из одного ущелья в другое — равносильно явлению с небес.

Когда вы идете по аулу, сидящий встает при вашем приближении, говорящий замолкает, занятый работой бросает ее, чтобы приветствовать вас, точно старого знакомого. Перед домом, в который вы получили приглашение войти, встречает вас старейший член семьи и вводит вас в *уазагдон*.

Поверия. Кажется, ничто так сильно не укоренилось в понятиях осетина, как вера в загробную жизнь... Но какова эта вера? «Неужели, — говорит осетин, — и тот, который летом не имеет бурки, а зимою — шубы, тоже причислен к загробной жизни?»

Зындон (ад) страшен, как изобилующий ужасными наказаниями. У входа в ад привязана к цепи сука, у которой из живота лают щенки, так как она занималась кражей, кусалась исподтишка и никому в ауле не давала покоя. Тут же муж и жена лежат рядом на громадной воловьей коже и накрыты такой же величины другой воловьей кожей; муж с руганью тянет кожу к себе, жена с такой же бранью тянет к себе, и оба никак не могут укрыться, — они всю жизнь ссорились и дрались, не давая соседям покоя. Далее стоит в сторонке женщина с повязкой па шее из змеиной кожи, а на голове кожа лягушки, — она в период траура тайком ела скоромное и тем обманывала своих покойников. Далее из скалы сыплется щебень — это женщина зашивает трещины скал за то, что она для своего мужа шила плохо, всегда на живую нитку, а своему любовнику шила старательно. Далее лежит женщина павзпичъ и па груди ее два огромных жернова мелят кремневые камни — за то, что она, заведую мельницей,

из чужих мешков воровала муку. Далее женщина в огромный, как гора, чан сливает из кадушек молоко, которое с шумом водопада несется в чан, но не наполняет его, — в наказание за скаредную жизнь этой женщины. Далее мужчина из глубокого каменистого рва тащит наверх камни и не может донести ни одного, — такое наказание он несет за то, что с соседями своими, измеряя участки пашни, себе отмерял больше, чем другим. Затем на зеленом лугу два быка щиплют усы и бороду мужчине за то, что он, при совместной работе с соседом, своим быкам клал отборное сено, а соседским — бурьян. Дальше открывается море, посредине которого голый островок; лезвие ножа служит мостом к островку; на острове видна скорлупа вороньего яйца, которая служит жилищем грешнику; с игольное ушко отверстие в скорлупе служит дверью ему, он жил на земле замкнуто, ни одного гостя не принял за всю свою жизнь, ненавидел людей, истязал семью и выгнал жену с детьми из дому. Еще далее из льда торчит голова молодого человека, который часто ходил к жене своего приятеля. Затем виден ледяной замок, в нем на ледяных креслах сидят три старика, перед ними ледяной стол, в руке каждого ледяная палка; каждого бреют ледяной бритвой за то, что люди им доверяли решать свои дела, а они все решали вкривь и вкось. Дальше начинаются картины райского преддверья. Здесь муж и жена лежат рядышком, под ними заячья кожа, и накрылись они тоже заячьей кожей: на них это хватает с излишком, они всю свою жизнь провели в любви и мире.

Далее опять замок, но только серебряный, сидят в нем на трех серебряных креслах три старца с длинными белыми бородами, и у каждого в руке серебря-

ная палка; говорят они все о правде, — эти на земле были тоже судьями, но правдивыми, добрыми и честными. Дальше уже виднеются золотые ворота рая, где все благоденствуют.

Когда мать оплакивает умершего ребенка, она называет его сиротой и советует ему избегать встреч с такими-то (называет имена умерших детей), так как они побьют его гибкой хворостиной... «Ты поди тогда к такому-то (называет какого-нибудь родственника), и он тебя защитит от злых детей»...

Отношение к больному. Весть о заболевании не только взрослого, но и ребенка собирает и из дальних аулов охотников навестить больного. Никакая заразительная болезнь не может остановить посетителей. «Помимо воли божьей никто не заболит и не умрет».

Тяжелобольного знакомые и родственники не оставляют ни днем, ни ночью. По ночам дежурит главным образом молодежь. Чтобы отвлечь больного от мысли о болезни, они стараются быть веселыми, рассказывают сказки, играют на осетинском *фандыр* — небольшой двенадцатиструнной арфе, и под аккомпанемент распевают легенды о нартах, даредзанах и других мифических героях.

Любопытство женщин проявляется даже в последние минуты умирающего. Они расспрашивают его о покойниках, — не видит ли он того-то? что делает такой-то? не голодает ли? кто его окружает? и т. д. Такими вопросами они настраивают воображение больного до такой степени, что он начинает отвечать им.

Оплакивая покойника, к нему иногда обращаются с проклятием, — *судзга фабадай* (сидеть бы тебе в огне), — за то, что он покинул малолетних детей, оставил несчастных стариков без потомства и т. д. В слу-

чае смерти оповещаются все соседние аулы, стекаются тысячи готовых разделить горе и скорбь безутешных родственников. Но и здесь осетинский этикет не остается бездействующим. При всем своем несчастьи отец не должен оплакивать своих детей, муж — жену.

Похороны. После омовения покойника с головы до ног его одевают во все новое; платье ему начинают шить, как только безнадежность больного становится очевидной. Гробы вошли здесь в употребление недавно.

До дня похорон покойник оставался на скамье в *хадзар'е*; его окружали исключительно женщины. По мере скопления парода все должно делаться в установленном порядке. Женщины становятся вереницей около покойника и в такт бьют себя по щекам, приговаривая: «*да-дай, да-дай!*» Затем одна из женщин нараспев приговаривает, а все другие отвечают ей хныканьем и истерическим плачем.

Мужчины собираются на дворе и также имеют свой установленный порядок для выражения скорби. Они попарно приближаются к *хадзар'у* с изготовленными для этого обряда плетями и, переступив через порог, бьют себя этими плетями через голову по голой шее. Выходя, они передают плети другой паре и т. д. Мало-знакомые с домом покойного выражают свое соболезнование более просто, — с опущенной головой и руками они тихо вступают во двор покойника и, простояв с минутой неподвижно, делают левой рукой печальное приветствие. Их благодарят, и они примыкают к общей массе.

Похороны происходят на вторые сутки, а если они сопровождаются поминками, то на третьи и даже четвертые. Во все время около покойника не прекраща-

ется плач женщин, а во дворе не уменьшается численность мужчин. Утренние посетители сменяют бодрствовавших всю ночь. Какая бы рабочая пора ни была, при вести о покойнике каждый считает своей обязанностью бросить работу и отдать последний долг отходящему, а иногда и отъезжающему в загробный мир; последнее выражение употребляется, когда покойника провожают на кладбище с оседланной лошадью, с заряженным ружьем, шашкой, кинжалом и пистолетом.

Вынос тела происходит всегда до захода солнца. Несут его на носилках четыре, а иногда и шесть человек на плечах; за ними ведут лошадь, увешанную оружием; затем идут мужчины и в некотором отдалении от них женщины. По дороге к кладбищу на более просторном месте процессия останавливается для литии. Едва успевают опустить носилки на землю, как вереница женщин уже принимается опять за хлопанье себя по щекам, мужчины тоже вновь проделывают попарно битье плетью своих шей. Более близкие родственники здесь же обрезают себе косы и кладут их рядом с покойником. Здесь же раздаются всем желающим носить траур женщинам куски черной материи.

Затем из толпы выступал старик и с рогом *арак'*а произносил напутственное слово. По окончании всех этих обрядов покойного уносят на кладбище. Если он был жертвой убийства, то его провожают залпами выстрелов, в противном случае производят только один выстрел из его ружья. На кладбище его уже никто не провожает; несколько носильщиков доносят его до кладбища и опускают в семейный склеп. Кладбища обыкновенно находятся далеко от аулов. В некоторых аулах зимою положительно нельзя добраться до клад-

бища, и покойники до веспы остаются в аулах зарытыми в солому. Все работы, необходимые для предания земле покойного, исполняются безвозмездно.

Надея траур, женщина отказывается от скоромной пищи; постится она, смотря по степени родства с покойником, от одной недели до 12 месяцев. Поминки устраиваются довольно часто и настолько роскошно, что иногда приводят к разорению. Зарезать, например, в один день до 30 голов рогатого скота, до 150 баранов, сварить 500 ведер пива и до 100 ведер *арак*'а, испечь до 3000 пшеничных хлебов было нелегко в Нарской котловине. Однако некоторые фамилии не задумывались над этим.

Обычное право. Кому приходилось следить за практикой кавказских окружных судов, тот не мог не обратить внимание на своеобразность уголовных процессов, где участниками являются наши туземцы, и в частности осетины.

Судится убийца, который никогда ни в чем предосудительном не был замечен.

— Вы признаете себя виновным? — спрашивают его через переводчика.

— Я убил, но я не виноват, — отвечает он переводчику, который передает его слова так: «да, признаю».

— За что же вы убили, положим, Муссу Гадоева?

— Его нива находится около нашего *хадзар*'а; каменная ограда ее в одном месте развалилась, мы ему каждый день советовали починить свой забор, иначе наша коза или теленок по недосмотру заберется на его ниву. «Хорошо, — говорил он, — завтра починю»; на другой день мы опять напоминали, а он — все завтра да завтра. Так прошло две недели, — мы просто измучились караулить своих телят. Однажды из нас никого

не было дома, оставалась только старуха мать и дети. Пока она доила коров, дети не сумели удержать коз, и две из них забрались на ниву. Мусса в это время возвращался с работы мимо нашего дома; он заметил коз и стал бранить покойников того, кому принадлежат эти козы. Мать, выгоняя коз, объяснила ему, что козы наши и что так ругаться пехорошо. Но Мусса продолжал ругаться; мать ушла, чтобы его не слышать... В это время я пришел с работы; когда на мое приветствие он мне ответил той же руганью, тогда и я обругал его... Он был сильнее, и если бы со мной не было кипжала, то он убил бы меня впами.

Я нарочно обратил внимание читателя на этот, очень часто повторяющийся ответ убийц в кавказских судах, который совершенно ускользает из внимания суда, а иногда вовсе не передается переводчиком.

Все дело в том, что мы не можем смотреть на покойников, на загробную жизнь с осетинской точки зрения и сотни убийств объясняем врожденной кровожадностью. Нет, это не кровожадность, а долг, по которому осетин скорее согласится умереть или убить, чем отдать на поругание покойников.

Убить и умереть для осетина времен *особа* были синонимы; убивая сегодня, он знал, что сам тоже будет убит, если не завтра, то послезавтра или через неделю. Прежде чем оплакивать убитого, осетины оплакивают убийцу.

Воровство считается ремеслом очень позорным, да и воровать не имеет смысла: утварь и оружие охраняются зорко; украсть хлеб — святотатство; украсть лошадь не стоит, так как трудно сбыть ее; редкие случаи воровства мелкой и крупной скотины для пищи

всегда раскрываются очень просто: потерпевший запугивает подозреваемого каким-либо святым и получает украденное добро или прибегает к следующему способу обнаружить вора: в поминальный день, на третьей неделе великого поста, когда бывает особенно большое стечение народа, потерпевший является на сборище с кошкой или собакой и громко заявляет: эту собаку я сейчас зарезу в помпновение покойников того, кто украл у меня телка и кто, зная вора, не укажет его. «Не делай этого,— отзывается тогда виновный,— не пропадет твое добро»,— и действительно, не пропадает— виновный выплачивает стоимость украденного. Таким образом, воровство было почти займом без предварительного согласия заимодавца: «долг» этот выплачивался.

Во время *босо́ба* ограбление осетипа осетином даже не было предусмотрено обычным правом. Но делать набеги за перевалы и грабить инородцев ставилось в заслугу. Потрава сена и хлеба вознаграждалась таким же количеством сена и хлеба. Простое нарушение общественной тишины и порядка, попросту — драка без поранения оканчивалась примирением; виновный должен был пригласить обиженного с несколькими друзьями и угостить их. Самый обширный отдел в обычном праве осетин занимают поранения и убийства. Всякое поранение, имевшее последствием членовредительство, подводилось под строго определенный *на-раграф*.

1. Поранение головы с повреждением черепа считалось в 18 коров.

2. Рана, простиравшаяся до лба настолько, что шапкой нельзя было прикрыть шрама,— 18+9 коров. (У осетин 18 коров представляли из себя нечто вроде единицы меры.)

3. За повреждение большого пальца платили 9 коров, за указательный — 6 коров, за средний — 5 коров, за безымянный — 4, за мизинец — 3. За повреждение правой ноги 15 — 18, смотря по степени повреждения; за левую — 15. Помимо этого, виновный должен был лечить больного на свой счет, а по выздоровлению его должен был устроить угощение (*фынг*). Размеры расходов на это угощение тоже строго определялись посредникам, хотя излишек щедрости не возбращался.

К сожалению, драка и поранения не всегда оканчивались примирением. Потерпевший мог быть слишком злопамятным и не всегда соглашался на примирение, а хотел во что бы то ни стало выместить обиду. Такое злопамятство нередко было причиной убийства.

Отмстить за кровь, или, как говорят осетины, взять свою кровь вовсе не значит убить самого убийцу, который мог быть хромым, косым, горбатым или старым; нужна жертва если не большая, то по крайней мере равная ее потере. Вот почему вся фамилия такого убийцы попадала в осадное положение, и если противники были сильнее, то без вины виноватые никуда не показывались, пашни и сенокосы их оставались неспаханными и нескошенными; хлеб, если он еще был на корне, выкашивался или вытаптывался, скотина их падала под выстрелами и ударами шашки. Осажденные очень часто из амбразур башни наблюдали за проделками своих врагов, и если они приближались на ружейный выстрел, то их обстреливали. Вот на такие-то черные дни и нужны были друзья, которые уводили на хранение и прокорм скотину, доканчивали полевые работы и даже снабжали осажденных

съестными припасами. Но еще больше были полезны женщины, которые, не подвергаясь мести, работали за себя и за мужей, были по ночам сторожами, обходя даже пашни и мельницы. Женщина вообще была якорем спасения как для своих, так и для посторонних. В ее присутствии убийца мог не бояться за свою жизнь.

Бывали случаи, что враги, с вечера засев где-нибудь поблизости, с рассветом шли штурмом на аул. Осажденные делали вылазку, и перестрелка завершалась рукопашной схваткой. В этой отчаянной игре страстей женщина в трауре была настоящим талисманом,—стоило ей только в самый разгар кровопролития войти в толпу ожесточенных врагов, как все расступались, вкладывали окровавленные шашки в ножны и расходились.

Для окончательного прекращения вражды врагам предлагали свои услуги, в качестве посредников, представители двух других сильных фамилий, для того чтобы достигнуть перемирия ввиду похода в Грузию, для разгромления какого-нибудь княжеского поместья или наступления полевых работ.

На случай нарушения договора о перемирии поручители должны были выдать лучшего из своей фамилии тем, за неприкосновенность которых они ручались,—в противном случае потерпевшие имели право зарезать собаку на их фамильном склепе. С какого бы дня ни начиналась порука, она оканчивалась всегда в воскресенье вечером. Когда срок оканчивался и когда последние лучи солнца достигали горных вершин, приходили поручители и говорили своим доверителям: «Смотрите, солнце зашло», то есть срок поруки окончился. Однако наши предки этим не удовлетворялись и очень часто достигали окончательного мира.

За неумышленное убийство убийца отвечал так же, как за преднамеренное.

Если преступление было совершено чужим оружием, то владелец оружия отвечал уплатою 18 коров.

Если ружье, которым было совершено преступление, было заряжено одной пулей, то мститель не имел права зарядить ружье двумя пулями, иначе он отвечал также 18 коровами. Истязание не имело места, — средства кровомщения не должны были превышать жестокости первого убийства; не исполнившие этого отвечали во время примирения соответственным числом коров.

Убийство женщины никогда не наблюдалось, хотя оно могло быть, благодаря шальной пуле во время перестрелки. За нее не мстили, потому что сам убийца делался мучеником такого непредвиденного несчастья. Кровь женщины оценивалась в 18+9 коров, которые делились между мужем и ближайшим родственником ее по рождению. За мальчика мстили как за взрослого мужчину, за девочку платили как за женщину. «Взять свою кровь» было обязанностью до того священной, что выполнение ее сопровождалось празднеством.

Примирение кровников. Старики выдающихся фамилий, игравшие как в семейном, так и в общественном быту первенствующую роль, заменяли осетинам высшее судебное учреждение. Предварительно убедив врагов заключить перемирие, старики усиленно старались уговорить согласиться на окончательное примирение. Получив согласие, они назначали день, в который весь мужской персонал враждующих должен был явиться на переговоры. Обе фамилии являлись вооруженными и занимали назначенные им пункты на расстоянии $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ версты одна от другой. Начинались

переговоры, во время которых должен был выясниться состав присяжных. Лицо, не пользовавшееся полным доверием обеих сторон, не могло участвовать в составе присяжных. Число последних зависело от сложности дела: обыкновенно их было от шести до восьми человек; помимо них истцу предоставлялось право выбора еще одного судьи. Главное затруднение было в выборе членов присяжного суда, а самое судопроизводство не составляло особенных затруднений, благодаря точности требований осетинского обычного права. Надо было только точно подвести итоги причиненных враждовавшими друг другу повреждений и убытков. Самая кровь имела строго определенную ценность.

Кровь наиболее почетных фамилий ценилась 18 + 22 коровы.

Кровь влиятельных фамилий оценивалась в 18 + 20, *фарсаг* — 18 + 15; для *кавдасард*'а не было установлено никакой ценности, да и убить его никому не было охоты.

Уплату потерпевшему вышеприведенной пени считали недостаточной — надо было враждовавших, насколько возможно, гарантировать от столкновений и на будущее время. Для этого старались породнить их посредством брака, выдав ближайшую родственницу убийцы за такого же родственника убитого. Если это удавалось, то для *ирад*, а с оценки крови скидывали 18 + 2 коровы. Остальная ценность крови распределялась между убийцей и его родственниками так: самые отдаленные родственники уплачивали 15 коров; более близкие — 18 коров. Все остальное распределялось поровну. Нетрудно понять целесообразность такой круговой ответственности.

Убийцами в большинстве были молодые люди, но их зависимость от старших была настолько сильна, что

они почти никогда не совершали преступления без ведома старших и без семейного совета всех родственников. Вот почему за их «шалости» отвечали три поколения как соучастники, а две родственные ветви как оказавшие им содействие.

Уплата штрафа за убийство распределялась следующим образом: одна треть — скотиной, другая — оружием, третья — медными котлами. Оценка всего имущества предоставлялась тем же присяжным. Вещь, побывавшая в уплате крови, шла по прежней цене. Рассрочка устанавливалась на срок от одного до полутора годов с определенными промежутками и строго установленными размерами взноса.

Когда оставалось выплатить только 18 или даже 9 коров, словом, приближался окончательный срок «погашения штрафа», убийца приступал к приготовлению большого *фынг*'а: варил пиво в котле, резал быка, пять баранов, гнал соответственное количество *арак*'а и пек потребное число пшеничных хлебов.

Собирались все лучшие представители враждовавших фамилий. Наиболее почетные места занимают присяжные. Место председателя занято старейшим из фамилии убийцы, дальние родственники стоят и прислуживают. Убийцы нет в *хадзар*'е. Голод и жажда утолены, разговор оживился. В *хадзар* входит молодой человек, держа обеими руками над головой турий рог, прикрытый куском шелковой материн, локтей десять длиною. Все встают, водворяется глубокое молчание. Вошедший — убийца, он останавливается против ближайшего родственника своей жертвы и с волнением говорит приблизительно следующее: «Прости мне... я поступил необдуманно... одной рукой я отрубил себе другую... я сознаю свою вину, но сделанного не вернешь, а потому прости мне... не отворачивайся от ме-

ня... говори со мной... считай меня преданным другом,— я оправдаю твое доверие» и т. д. С этими словами он передает ему турий рог.

«Да простит тебе бог, — отвечает тот, принимая от него «тура», — а я тебе прощаю в присутствии вот этих свидетелей; никакого зла я тебе причинять не буду. Перед богом и людьми с сегодняшнего дня ты мой друг». Затем, передав материю соседу и сделав несколько глотков из рога, наполненного пивом, он передает его гостям. Затем начинаются тосты, и мир заключен.

1891—1902

КОММЕНТАРИИ

ПОЭМЫ

К жанру поэмы Коста обратился в самом начале творческого пути. Еще в юношеские годы, когда он учился в Петербургской Академии художеств, им была написана на русском языке большая драматическая поэма «Чердак» — первый значительный опыт в этом жанре. Поэма осталась незавершенной, но именно уже здесь наметились основные тенденции будущего развития незаурядного эпического дарования Коста. Проблема философского осмысления жизни — одна из самых важных в поэме — решается в этой ранней поэме вполне зрело, с глубоким знанием жизненных противоречий и законов диалектики. Примечательна в поэме и драматически напряженная, свойственная, кстати, и другим его поэмам, чисто хетагуровская манера изложения, искусство диалога. Позднее, во владикавказский период своей жизни, Коста продолжал работать над поэмой, но по разным причинам она так и не получила окончательной отделки. В настоящее издание эта поэма не вошла.

В 1889 году была опубликована, написанная К. Хетагуровым также на русском языке, поэма «Фатима». Затем, в годы ссылки, последовательно появляются в свет поэмы «Перед судом» (1893), «Кому живется весело» (1893—1894), «Се человек» (1894). Поэма «Плачущая скала» (из исторического прошлого осетинского народа), над которой поэт работал в херсонской ссылке, осталась незаконченной.

Коста создал ряд поэм и на осетинском языке. Кроме публикуемой в настоящем томе поэмы «Хетаг», Коста написал на осетинском языке лирическую поэму «Кто ты?» и эпическую по своему содержанию и стилевым приемам поэму «На кладбище». К жанру поэмы с полным правом могут быть отнесены также и небольшие по объему произведения Коста: «Мать», «Кубады» и «Всати», в которых как бы спрессованы все характерные особенности и признаки этого жанра. Не случайно Коста называет их кадджыта (мн. число от *кадаг* — хвалебная песнь, поэма). Все они вошли в «Осетинскую лиру» и опубликованы в первом томе настоящего издания.

Жанр поэмы позволил Коста расширить сферу художественного освоения современной ему действительности. Проблематика его эпической поэзии связана с жизнью не только осетинского, но и других народов.

Поэмы Коста — крупнейшее событие в истории духовной культуры осетин. А поэмы, написанные им на русском языке, стали своеобразным и очень интересным явлением и русской литературы последней четверти XIX века.

ФАТИМА

Печатается по исправленному самим поэтом тексту ставропольского издания русских стихотворений и поэм Коста (1895 г.). По цензурным условиям, в этом издании были изъяты стихи: в главе I — 165—169; в главе II — 17, 83, 107—108,

124—131, 174—176; в главе III — 150—160, 173—174; в главе VI — 42—47, 66—70, 87—115, 118—121, 148—149; в главе VII — 97, в Заключении — 13—16. В экземпляре Северо-Осетинского НИИ все эти изъятия восстановлены рукою Коста.

Посвящение поэмы (акростих) адресовано А. Я. Поповой. «Над стихотворением, — рассказывает она в своих неопубликованных воспоминаниях, — начерчена лира и на ней надпись: Посвящение. Лира находится между скалой и деревьями, куда направляет свои стопы странник с котомкой за спиной и с посохом в руке. К лире держит путь и вереница птиц» (Архив Северо-Осетинского НИИ, фонд Коста, папка 11, № 40, л. 15).

Посвящение к поэме, по свидетельству А. Я. Поповой, написано в 1887 году. К этому времени, вероятно, и следует относить начало работы над поэмой. Полностью она была завершена во второй половине марта 1889 года и тогда же опубликована в газете «Северный Кавказ» (№№ 22—24) с подзаголовком «Кавказская повесть под аккомпанемент балалайки». С незначительными перерывами поэт работал над ней около двух лет.

Для ставропольского издания своих стихотворений и поэм на русском языке (1895 г.) Коста заново ее переработал, создав по существу другую ее редакцию, значительно отличающуюся от первой.

Две стилевые тенденции — реалистическая и романтическая — постоянно сталкиваются в поэме. Эта ее двуплановость особенно четко выражена в первой редакции поэмы, каждая глава которой начиналась вступлением в пять-шесть, а в одном случае даже в двенадцать строф. Чаще всего это пейзажные зарисовки, а иногда даже небольшие картины из жизни пореформенного Кавказа. В какой-то мере они создают своеобразный фон, некий контраст общей романтической окраске поэмы. Читатель не может не почувствовать во всем этом нарочитого снижения стиля. Но «сквозному действию», композиционной стройности поэмы эти зарисовки не помогают.

Вступления к главам написаны четырехстопным анапестом в отличие от энергичного четырехстопного ямба, которым написана основная часть поэмы. Первое вступление начиналось, например, такой строфой:

Неприветливо смотрит суровый Кавказ,
Не баюкает сладко он взоры...
Но заглянем, читатель, поглубже хоть раз
В его мрачные дикие горы.

Вялый четырехстопный анапест, естественно, нарушал свойственное всей поэме драматическое напряжение.

В окончательном тексте поэмы вступления к главам отсутствуют. Две стилевые тенденции, о которых мы говорили выше, почти слились в новой редакции, и читатель только угадывает теперь двуплановость поэмы.

Коста беспощадно вычеркивал все, что хоть в малейшей мере мешало композиционной стройности поэмы. Например, между 34-м и 35-м стихом первой главы в тексте «Северного Кавказа» были следующие строки:

Не раз безвестною тропой
Безвестный старичок слепой
Сюда являлся... Молодая,
Как тень, тщедушная, худая,
Девчонка в рубище худом
Его дорогой провожала.
И только их просили в дом, —
Она бесследно исчезала...
Тогда покинутый слепой
Перед собравшейся толпой
Здесь славил прелести свободы,
Хулил насилие и, певзгоды
Войны безумьем называя,
Любовь и братство воспевая,
Сулил счастливые года
В затеях мирного труда.

Во второй редакции поэмы эти строки отсутствуют: значительные сами по себе, они не имели непосредственного отношения к предмету изложения. В результате очень глубокой правки стали ясней конфликтные ситуации. В новой редакции особенно ярко подчеркнута социальная мотивировка конфликта между Ибрагимом и Джамбулатом, еще большую определенность и выразительность приобретает искусство диалога.

«Фатима» начата как романтическая поэма. Романтические элементы играют в ней значительную роль. Особый интерес в этом отношении представляет образ Джамбулата. Это тип так называемого «романтического злодея» — от его руки погибает Ибрагим, из-за него сходит с ума Фатима. Дымкой романтики окутана и выдуманная им самим собственная биография. Многими чертами напоминает он романтических героев старых времен...

Несмотря на романтическую окраску, поэма остается реалистической в своей основе: события в ней разворачиваются в реальной конкретно-исторической обстановке пореформенного Кавказа. Из реальной действительности взяты картины быта и природы. Мастерски выписаны утро и закат в горах, дремучий бор, тропинка... Психологической глубиной и высоким мастерством отмечена сцена сумасшествия Фатимы.

Поэма экранизирована киностудией «Грузия-фильм».

Стр. 7. *Полна кунацкая Наиба...* — Наиб — старшинское звание на Кавказе. Здесь: собственное имя.

Немало из Чечни, Гуниба... — Гуниб — название аула в Дагестане.

Стр. 12. *С оружием за Сулак спешили...* — Сулак — река в Дагестане.

Стр. 25. *За Сунжей вспыхнуло восстание...* — Сунжа — правый приток Терека.

Стр. 48. *Вместо сакли — турлучная хата...* — Турлучная хата — обмазанная глиной изба; мазанка.

ПЕРЕД СУДОМ

Одна из «кавказских» поэм Коста. Более всех других его поэм отвечает она нормам романтической поэзии. Это — развернутый монолог, исповедь героя. Романтическим по замыслу является образ Эски, который может быть понят только в рамках романтического стиля. Эски — сильная и непреклонная личность, натура, способная взволнованно и ярко воспринимать мир и природу. Это тип романтического героя, мятежника и бунтаря. Пафос поэмы составляет столкновение вольнолюбивого горца с адатом, конфликт с окружающей средой.

Поэма печатается по беловому автографу архива Северо-Осетинского НИИ. Впервые опубликована в газете «Северный Кавказ» (1893, № 43). В архиве Юго-Осетинского НИИ сохранился беловой автограф другой редакции поэмы, заметно отличающийся от публикуемого нами текста. Этот автограф Коста подарил А. Я. Поповой. *Вместо стихов 6—12:*

Я к ней готовился давно,
С преступной жизнью без боязни
Могу расстаться я равно
В петле ли, на позорной плахе,
Под стройным залпом ли стрелков
Иль за добычею в овраге
От рук подвластных мне воров.

Заключительные строфы поэмы в той же редакции читаются так:

А если б знали мы сначала
Княжну с холопом — о, тогда
И вас, быть может, от труда
Судить Эски могли избавить...
Но я был слеп... и вот теперь,
В железо скованный, как зверь,
Жду смерти... Все же позабавить
Своею повестью печальной

Не прочь был грозных палачей...
За что прощу и мой прощальный
Привет Залине снести моей.

В автографе рукою поэта сделаны две заставки. Перед текстом изображена виселица с повешенным горцем. И в конце текста — поникшая в печали женская головка.

По цензурным условиям, в ставропольском издании опущены стихи 5—16, 21—29, 36—37, 39—40, 53—56, 95—98, 132—134, 141. В экземпляре Северо-Осетинского НИИ все эти изъятия восстановлены рукою Коста.

КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО

(Подражание Н. А. Некрасову)

Печатается по машинописной копии, подписанной Коста и имеющей значение автографа. По цензурным условиям, поэма не вошла в сборник, изданный в 1895 году. Экземпляр копии хранится в Московском областном государственном историческом архиве.

Первые опубликована в газете «Северный Кавказ» в марте 1893 года (№№ 18, 20, 23, 31), в марте (№ 26) и в мае 1894 года (№ 35).

В мае 1894 года печатание поэмы прекратилось. «В № 35 (№ 868) «Северного Кавказа» помещено продолжение «Подражания Н. А. Некрасову» в виде фельетона под заглавием «Кому живется весело...» — говорилось в отзыве Главного управления по делам печати от 31 мая 1894 года. — В этом давно уже печатающемся «подражании» выводились разные типы мелких властей и осмеивались эти власти в такой форме, что соблюдалась и должная осторожность, и приличие. В данном случае цензурные границы уже грубо перейдены, и вместо речи о маленьких туземных властях говорится о русской власти в крае, которая начала-де с полного произвола и с того, что «грабят каждого

и днем и по ночам» (Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде, ф. 776, оп. 12, д. 88, л. 61). Главное управление по делам печати в Петербурге в своем предписании ставропольскому губернатору от 7 июня 1894 года «покорнейше» просило «сделать зависящее распоряжение, чтобы в газете «Северный Кавказ» не было дозволяемо подобного рода статей, имеющих характер злостных памфлетов» (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, ф. 776, оп. 12, д. 88, л. 62).

Политический смысл поэмы, как это видно из приведенных документов, был угадан царской цензурой совершенно точно.

Поэма «Кому живется весело» является значительной вехой на творческом пути Коста. Она знаменует собой новый шаг поэта в освоении современной ему действительности и метода реалистического искусства.

Для правильного понимания исторической атмосферы тех лет и содержания поэмы многое дают публицистические статьи Коста, письма и очерк «Особа» (например, глава «Обычное право»).

«Я, художник и народный поэт, — писал Коста в своих автобиографических заметках, — всю мою жизнь посвятил борьбе с администрацией Кавказа... Гнет и главные враги туземного населения — казаки, так называемые «черноморцы» (Кубанская область) и «линейцы» (Терская область). А председатели горских судов, выгнанные из строя за негодность хорунжие, сотники, — все эти не имеющие никакого понятия о юридических и традиционных адатах и верованиях туземного населения, получаая незначительное, мизерное жалованье, живут исключительно взяточничеством (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста, № 10/10).

В свете свидетельств самого поэта становятся особенно ясными реальная обстановка и подоснова, откуда черпал Коста материал для своей сатирической поэмы.

За каждым персонажем поэмы современники легко угадывали прототипа. Под Голубитниковым имеется в виду начальник Владикавказского округа полковник Д. К. Голубов, установивший в Осетии полицейский режим. Бесчинства и беззакония его не имели предела. За ничтожные проступки, по распоряжению этого самодура, горцы подвергались самым суровым наказаниям. В одной из своих заметок Коста рассказал о том, как «один несчастный осетин... отпробовал березовую кашу за то только, что не согласился без денег довести писаря на место его назначения. Впрочем, это пока первая ошибка в реформах нашей общественной жизни. Да и можно ли этот факт назвать ошибкой? Ведь г. Голубову хорошо известно все, все, все... Он был убежден, что осетин хотел ограбить писаря... Хотя сам писарь не подтверждает этого...» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста).

Под именем Ивана Зуботычева выведен И. Н. Братков — атаман Баталпашинского отдела Кубанской области. Максим Лизоблюдов — Евгений Дмитриевич Максимов, редактор неофициальной части газеты «Терские ведомости» в 1880—1892 гг. В этой газете Е. Д. Максимов продолжал сотрудничать и после переезда в Петербург. Яша юродивый — Яков Абрамов, журналист либерального направления. По воспоминаниям А. Гущина, Я. Абрамов позже, в 1895 году, выступил со злобной статьей о сборнике русских стихотворений Коста.

Прототипом Сепьки Людосдова является Семен Васильевич Каханов, в то время пачальник Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска, душитель всего живого на Северном Кавказе. Коста впервые столкнулся с ним в 1891 году. В связи с вопросом об осетинской женской школе и впоследствии не раз выступал в печати против злоупотреблений этого ставленника царского самодержавия. За свои смелые выступления Коста постоянно подвергался преследованию со стороны генерал-лейтенанта С. В. Каханова.

Поэма «Кому живется весело» печаталась на страницах газеты «Северный Кавказ» с большими перерывами, но, несмотря на это, она находила самый живой отклик среди читателей. Поэмой зачитывались и с нетерпением ждали ее продолжения. «Отчего так долго не было продолжения «Кому живется весело»? — спрашивал К. Хетагурова А. Захаров в письме от 24 апреля 1893 года из Баталпашинска. — Последнего № Ваня (имеется в виду И. Н. Братков — атаман Баталпашинского отдела. — К. Г.) еще не читал. На своих именинах был очень и очень весел, так как все Лизоблюдовы были налицо» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста).

«Сообщу тебе весьма необходимое сведение о Голубове, — писал в своем письме к К. Хетагурову С. Кокиев из Владикавказа. — В Тифлисе в канцелярии Главногоначальствующего уже написана бумага Каханову об удалении его с должности и предании суду. Вопрос только времени, пока бумага придет и будет исполнена... Кажется, откупиться уже нельзя. Старый бирюк уже в капкане... Процесс будет громок и интересен... Казалось, что пора и смириться да рассчитывать своею шкурой, но старый плут не хочет смириться. Ввиду изложенного, подобных г.г. надо чаще и рельефнее выводить на свет божий...» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста).

«Правда ли, что будто Каханов писал в редакцию «Северного Кавказа», чтобы более не печатать твоих писем, или это вранье?» — спрашивал К. Хетагурова Борис Туаев в своем письме от 19 июня 1893 года, имея в виду главы из поэмы («Письма из Владикавказа» печатались в газете позже — в сентябре 1893 г.).

Рукопись поэмы «Кому живется весело» не обнаружена.

Стр. 57. *В каком году — рассчитывай, // В какой земле — угадывай...* — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Стр. 59. *Абаз последний брал...* — Абаз — денежная единица, равная двадцати копейкам.

Стр. 62. *По селам и урочищам // Уезда Терпигорева...* — Имеется в виду Владикавказский округ Терской области, то есть Осетия.

Стр. 64. *Ты в центре Терпигорева... // Воздвиг кирпичный дом...* — Имеется в виду город Владикавказ.

Стр. 75. *И села и урочища // Уезда Безотрадного...* — Имеется в виду Баталпашинский отдел Кубанской области.

Стр. 79. *Безотрадное...* — Имеется в виду город Баталпашинск.

«С Е Ч Е Л О В Е К»

Печатается по исправленному самим поэтом тексту ставропольского издания стихотворений и поэм Коста (1895 г.). В этом издании царской цензурой были изъяты стихи: 35—36, 54—56, 68—72, 177—180, 187—192, 201—204, 234—240. В экземпляре Северо-Осетинского НИИ они восстановлены рукой Коста.

Впервые со значительными цензурными купюрами опубликована в газете «Северный Кавказ» (№ 30, 1894 г.).

Предположительная дата написания — 1894 г.

Пятьдесят шестая строка поэмы («Трудящего зовите другом...») в публикуемом нами тексте исправлена по беловому автографу, хранящемуся в Северо-Осетинском НИИ.

Х Е Т А Г

Неоконченная поэма Коста. Печатается в переводе на русский язык. Автографы подлинника хранятся в архиве Северо-Осетинского НИИ.

Поэма в подлиннике впервые с большими искажениями опубликована в альманахе «Зиу», кн. 2-я. Москва, 1927, с. 113—130.

О замысле поэмы «Хетаг» см. комментарий к стихотворению «Хетаг» (том I наст. изд.) и в письмах к А. Хетагурову от 1 сентября 1899 г. и 7 марта 1902 г. (том III наст. изд.).

Подлинник публикуемого в настоящем издании отрывка (посвящение, главы I, II, III — 316 строк) печатался в собраниях сочинений Коста, начиная с издания Академии наук СССР, 1939 г.

Варианты и свод черновых редакций поэмы опубликованы в Академическом пятитомном издании сочинений Коста (т. I. с. 309—432).

Стр. 109. *Сам из десятого я поколения...* — Поэт имеет в виду следующую генеалогию своих предков: Хетаг — Георгий — Мами — Гоци — Зида — Амран — Аса — Елизбар — Леван — Коста.

ДУНЯ

Фантазия в четырех действиях

Интерес к театру возник у Коста очень рано. В юности он мечтал стать актером. Он принимал деятельное участие в театральных постановках еще в годы пребывания в ставропольской гимназии. Современники хорошо помнят Коста-декламатора. Помнят его и на сцене в роли Карла Моора в «Разбойниках» Фридриха Шиллера и в роли Ивана Грозного в пьесе Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». «Самое яркое впечатление о Коста, — пишет Э. Туганов, хорошо знавший поэта по ставропольской гимназии, — от субботних вечеров, когда по просьбе сурового директора Гнипова, на радость всем пансионерам, Хетагуров читал стихи. Отчетливо, звучно, с своеобразным тембром из широко открытого рта, при блеске вдохновенных орлиных глаз неслись в покорной тишине;

Тиха украинская почь,
Прозрачно небо...

Помню, Коста изображал на сцене Ивана Грозного. Игра была так реальна и совершенна, что один из зрителей вскочил на сцену и обнял Хетагурова (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста, папка 66, л. 1).

Об увлечении театром и незаурядном сценическом даровании Коста рассказывают в своих воспоминаниях и другие современники.

«Шла пьеса «Пчела и Трутни», — пишет, например, владикавказская знакомая поэта Надежда Шарапова-Прошинская. — Коста играл роль бедного забытого судьбой труженика — пчелы, и играл очень недурно, не отличаясь от заправских артистов» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста, папка 11, л. 1).

Интерес к театру не покидал Коста до конца его жизни. В 80-х годах прошлого столетия почти все постановки во Владикавказе шли в декоративном оформлении Коста. Он был известен и как режиссер-постановщик. Вот одно из газетных сообщений тех лет: «В понедельник, на масленицу, предстоит интересный спектакль, устраиваемый г. Хетагуровым с участием его самого в главной роли и, так сказать, «сливок» нашего товарищества, пойдет «Кручина» соч. Шпажинского» (газета «Северный Кавказ», № 16 от 25 февраля 1888 г.).

Коста был организатором любительских спектаклей во Владикавказе, Баталпашинске, Екатеринодаре, Ставрополе и Пятигорске.

Комедия «Дуня» печатается по тексту владикавказского издания 1902 года.

Впервые опубликована в газете «Северный Кавказ» в 1893 году (№№ 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69).

Первая редакция комедии («Курсистка») датируется 1890 годом. Написана она во Владикавказе. По словам современника

Коста К. Топуридзе, «приблизительно в 1890—1891 гг. в обществе своих друзей Коста читал одну маленькую пьесу... Эту пьесу наша молодежь хотела поставить на сцене, даже роли были распределены, но по каким-то причинам постановка не была осуществлена» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста, папка 39, л. 47).

Варианты первой редакции комедии опубликованы в Академическом пятитомном издании собрания сочинений Коста (т. III, с. 302—365).

ПРОЗА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Печатается по тексту газеты «Северный Кавказ» (№ 84, 1889), где он впервые был опубликован.

Автограф неизвестен.

ОХОТА ЗА ТУРАМИ

Печатается по тексту журнала «Детское чтение». Санкт-Петербург, 1893, № 3, с. 243—254. Рассказ, вероятно, написан в период карачаевской ссылки.

«В 1892 или 1893 г., — вспоминал друг и родственник писателя, врач Андукапар Хетагуров, живший в Петербурге, — мои друзья пациенты Борисов Яков и Голяховский Петр (первый издатель, второй редактор журнала «Детское чтение») передали мне для просмотра присланный им Коста рассказ «Охотники». Рассказ они напечатали в очередном номере своего журнала, и Коста был очень обрадован этим обстоятельством. Он письмом

горячо благодарил редакцию. Помню, в письме была, между прочим, такая фраза: «Я уж думал, что ни на что не гожусь» (Архив Северо-Осетинского НИИ, ф. Коста, папка 11, № 30, л. 6).

О С О Б А

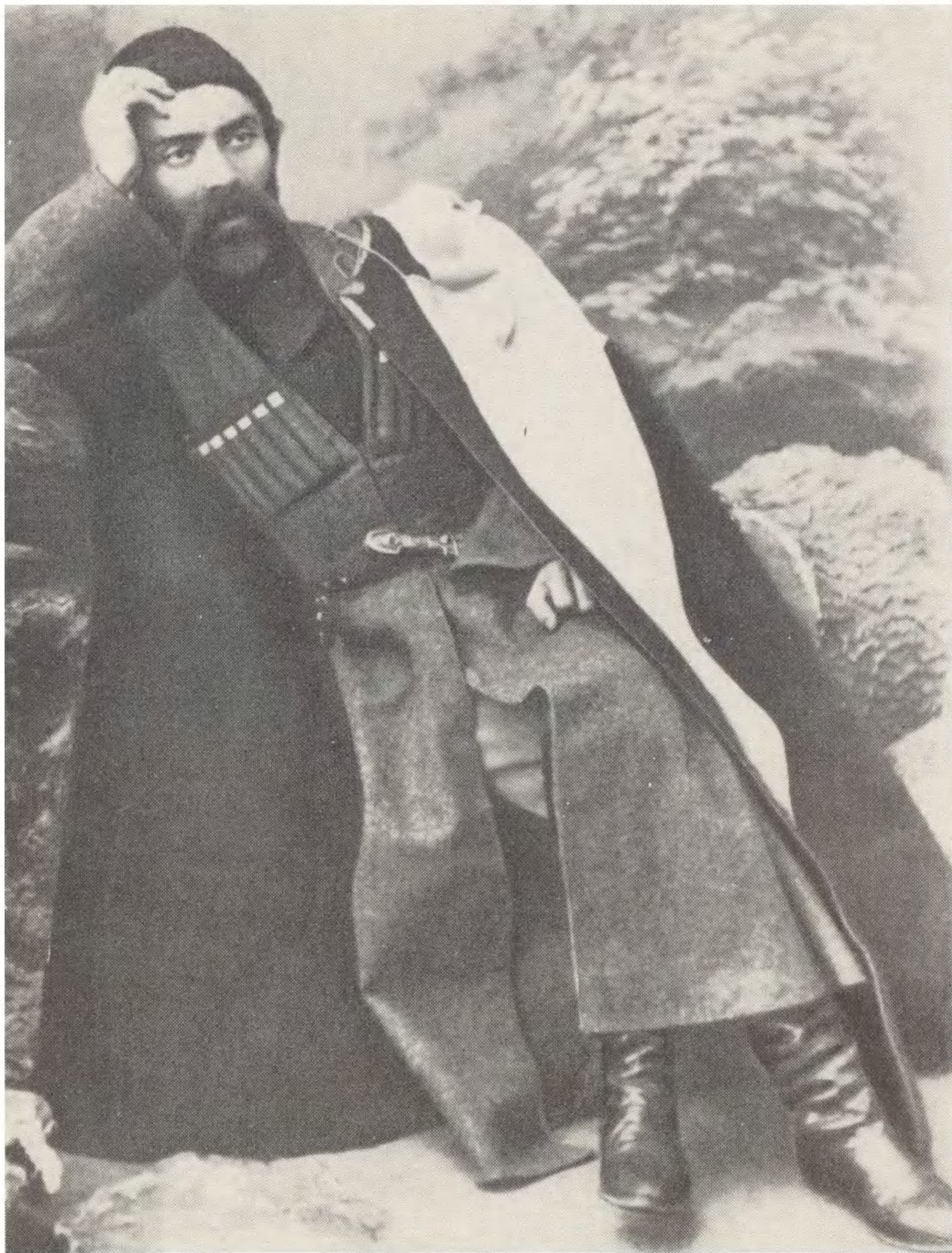
(Этнографический очерк)

Печатается по тексту журнала «Кавказский вестник», № 7, за 1902 год. Сохранившиеся два отрывка чернового автографа датируются второй половиной 1891 года.

Впервые очерк (без окончания) опубликован в газете «Северный Кавказ» в №№ 59, 63 и 75 от 20 июля, 11 августа и 22 сентября 1894 года.

Публикуемый нами текст значительно отличается от текста газеты. Кроме основательной стилистической правки Коста ввел в журнальный текст новые главы: Детство. Танцы, пение, сказки. Ирад (калым). Жених и невеста. Свадьба. Семейная и общественная жизнь. Отношение к больному. Похороны. Обычное право. Примирение кровников.

Отрывки чернового автографа и газетный вариант очерка опубликованы в Академическом пятитомном собрании сочинений Коста (т. IV, с. 414—452).



Коста Хетагуров. Фотография середины 90-х годов.



Коста Хетагуров. Долина Теберда. Масло.



Коста Хетагуров. Портрет Мисирби Гутиева. Масло.



Коста Хетагуров. Гора Столовая. Масло.

Бросают топоры небрежно ..

— Нѣтъ, видно, не угнаться намъ
За нимъ, — онъ дьявольски прилежно
Работать сталъ...

— «Разгадка въ чемъ?»

*Была-бы моей женой Фатима,
Да-была подъ княжескимъ званіемъ
И ~~никуда~~ не мешала. Ибрагимъ
Жена его всему виной...*

Лишь съ нею онъ рука съ рукой
Взобратся могъ на тѣ ступени,
Что незаслуженно сейчасъ
Съ холопомъ раздѣляютъ насъ...

— Стыдись, товарищъ! Ты до брани
Несправедливъ... Изъ нищеты
Могли-бы выдти при желаньи,
Какъ Ибрагимъ, — и я, и ты;
Но выборъ сердца молодого
Княжны сказанъ лишь на немъ
Не потому-ли, что во всемъ
Ущельѣ не было другого,
Кто могъ-бы норовиться съ нимъ
Неутомимостью въ работѣ?
Какъ я, какъ ты, и Ибрагимъ
Родился въ ясляхъ... но *изъ* свободы

*Никто изъ насъ его не любилъ
Въ своей неволе не помнилъ...
Трудомъ, облитымъ потомъ, кровью,
Онъ раньше всѣхъ свободнымъ былъ...*

*Кичился рабскимъ трудомъ своимъ,
Не буди съ и онъ-да и подаясь
Смущенъ за вѣчного вѣра,
Какъ я... Она его спасла...
Жена его всему виной...*

ДУНЯ.

Фантазія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.



Соч. Коста.



ВЛАДИКАВКАЗЪ.

Типо-Литографія З. П. Шувалова.

1902.

Обложка первого издания комедии «Дуня».



Коста Хетагуров. Фотография начала 1900-х годов.



ОХОТА ЗА ТУРАМИ



Ауль Зебать состоялъ всего только изъ тринадцати дворовъ. Сакли его, словно гнѣзда ласточки, лѣпились въ складкахъ, утеса, вздымавшагося до облаковъ изъ глубокой тѣсины. Бушующій потокъ на скалистомъ днѣ ущелья казался изъ аула серебряной нитью. Ни кусточка, ни деревца кругомъ! Вездѣ скалы, однѣ скалы, поросшія мохомъ, и голый безжизненный камень.

Жили въ этомъ аулѣ осетины; жили очень бѣдно, потому что не было у нихъ ни луговъ, ни пахотной земли. Мужчины занимались охотою за турами, а

Первопечатный текст рассказа Коста Хетагурова
«Охота за турами» (первая страница).



Коста Хетагуров. Старик. Рисунок пером.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

Фатима. Кавказская повесть	7
Перед судом	50
Кому живется весело (<i>Подражание Н. А. Некрасову</i>)	57
«Се человек»	99
Хетаг. Перевод П. Панченко и А. Шпирта . .	109
Дуня. Фантазия в 4-х действиях	121

ПРОЗА

В горах	203
Предложение (<i>Отрывок</i>)	208
Охота за турами	215
Особа (<i>Этнографический очерк</i>)	226
К. Гугиев. Комментарии	283

Хетагуров Коста.

Х41 Собрание сочинений. В 3-х томах. Т. 2. Поэмы. Драматические произведения. Проза. М., «Худож. лит.», 1974.

304 с.

Во второй том Собрания сочинений основоположника и классика осетинской литературы Коста Хетагурова (1859—1906) вошли его поэмы на русском («Фатима», «Перед судом», «Кому живется весело», «Се человек») и на осетинском («Хетаг» в переводе на русский) языках, драма «Дуня», рассказы «В горах», «Предложение», «Охота за турами» и очерк «Особа», посвященный историческому прошлому Осетии.

Как и включенные в первый том стихотворения, эти произведения свидетельствуют о большом мастерстве Коста в различных жанрах и о поистине народном характере всего его творчества.

Х 70403-027 подписное
 028(01)-74

С(Осет)1

Коста Леванович Хетагуров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

Редактор *А. Марусич*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *Г. Лысенкова*

Корректоры *Э. Тихонова* и *Н. Усольцева*

Сдано в набор 31.VII 1973 г. Подписано в печать 8.IV 1974 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 70×108¹/₃₂. 9,5 печ. л. 13,30 усл.
печ. л. 12,256+1 вкл+4 накладки=12,564 уч. изд. л. Тираж 40 000
экз. Заказ № 1128. Цена 45 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография
№ 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ле-
нинград, П-136, Гатчинская ул., 26

